Чарльз
Диккенс

- Чарльз Диккенс
  - Смертные в доме
  - Призрак комнаты с часами
  - Призрак двойной комнаты
  - Призрак картинной галереи
  - Призрак буфетной
  - Призрак комнаты мастера Б.
  - Призрак садовой комнаты
  - Призрак угловой комнаты
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

Чарльз Диккенс
ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ

Смертные в доме

Впервые я свел знакомство с домом, в котором разыгрывается действие этой Рождественской повести, отнюдь не при тех обстоятельствах и отнюдь не в том окружении, какие обычно принято связывать с появлением призраков. А увидел я его при ясном свете дня, в ярких лучах утреннего солнца. Не было ни бешеного ветра, ни дождя, ни грома и молний, ни каких-либо прочих мрачных и удручающих обстоятельств, способных отяготить первое впечатление. Более того — пришел я туда прямиком с железнодорожной станции; и, стоя перед домом и оглядываясь назад, я видел исправные поезда, мерно бегущие вдоль проложенных через долину рельсов. Не скажу, что в доме не было совсем уж ничего примечательного — потому что я вообще сомневаюсь, будто хоть что-то можно так назвать, разве только на взгляд совсем уж ничем не примечательных людей; но возьму все ж таки на себя смелость заявить, что всякому на моем месте этим дивным осенним утром этот дом показался бы точно таким же, как и мне.

Попал я к этому дому так:

Я ехал в Лондон с севера, намереваясь по дороге специально остановиться и осмотреть его. Состояние моего здоровья требовало обзавестись временной резиденцией где-нибудь за городом, и один мой друг, который знал об этом и которому довелось проезжать мимо этого дома, написал мне, что он как нельзя лучше мне подойдет. Я сел в поезд вечером, и тотчас же заснул, а потом проснулся и долго сидел, глядя в окно на играющее на небе Северное Сияние, а потом снова заснул и, снова проснувшись, обнаружил, что ночь миновала, оставив меня в обычном в таких случаях досадном заблуждении, будто я не смыкал глаз ни на секунду — стыдно сказать, но, пребывая в первом одурении, свойственном подобному состоянию, я готов был отстаивать свое заблуждение хоть личным поединком с моим соседом напротив. Сосед мой напротив, кстати, как то обычно и бывает с соседями напротив, всю ночь удивлял меня совершенно невероятным количеством ног, причем все как одна были невероятно длинны. Вдобавок к этим вздорным замашкам (каких, впрочем от него только и можно было ожидать), он не выпускал из рук карандаш и записную книжку и всю дорогу к чему-то прислушивался и делал какие-то пометки. Мне показалось, что эти раздражающие записки как-то связаны с потряхиваниями и поскрипываниями вагона, и с этим я с грехом пополам

мог бы еще примириться, исходя из общего предположения, что имею дело с путейным инженером, если бы мой сосед непрестанно не таращился бы куда-то в пространство прямо у меня над головой. Глаза у него были навыкате, а выражение лица недоуменное, и под конец чаша моего терпения переполнилась.

Стояло холодное, унылое утро (солнце еще не встало), и, окончательно утомившись от созерцания бледных отблесков огней этого промышленного края и завесы тяжелого дыма, отделившей меня и от звезд, и от света новой зари, я повернулся к моему спутнику и сказал:

— Прошу прощения, сэр, но скажите, чем вас так заинтересовал мой внешний вид?

Ибо он и в самом деле, казалось, в подробностях описывал в своей книжке даже мою прическу и дорожную шляпу с тщательностью, которая, на мой взгляд, являлась непозволительной вольностью.

Пучеглазый джентльмен неторопливо отвел взгляд со стены за моей спиной, с таким видом, будто она находилась за тысячи миль отсюда, и произнес, снисходя к моей незначительной персоне:

— Ваш вид, сэр?.. Бэ.

— Бэ, сэр? — переспросил я, начиная горячиться.

— Мне совершенно не о чем с вами говорить, сэр, — возразил джентльмен. — Будьте добры, не мешайте мне слушать… О.

Чуть помолчав, он снова провозгласил эту гласную и тут же записал ее.

Сперва было я не на шутку встревожился, потому что в экспрессе помешанный без всякой охраны — это дело нешуточное. Но тут на помощь мне пришла мысль, что, возможно, джентльмен этот из тех, кого в народе называют духовидцами: из секты (одной из), к которой я питаю, разумеется, глубочайшее почтение, но веры которой я не разделяю. Я уже собирался спросить его самого, как он, можно сказать, вырвал хлеб у меня изо рта.

— Вы, конечно, извините меня, — презрительно промолвил джентльмен, — если я слишком продвинут вперед по сравнению со всем прочим человечьим родом, чтобы беспокоиться по подобным пустякам. Я провел эту ночь — как, собственно говоря, провожу всю жизнь — беседуя с духами.

— О! — только и сказал я скептически.

— Ночная конференция началась, — продолжал джентльмен, пролистав назад несколько страниц блокнота, — таким сообщением: «Не рой другому яму, сам туда попадешь».

— Звучит неплохо, — согласился я. — Но так ли это ново?

— Ново — для духа, — отрезал джентльмен. Мне снова пришлось ограничиться скептическим «О!» и осведомиться, каково же было последнее сообщение?

— Синица в руках, — с превеликой торжественностью прочел джентльмен свою последнюю запись, — лучше журавля в хлебе.

— Я, безусловно, того же мнения, — произнес я, — но разве не следовало бы сказать — в небе?

— Мне было сказано — в хлебе, — отрезал джентльмен.

Затем он уведомил меня, что нынешней ночью дух Сократа удостоил его следующим откровением:

«Друг мой, надеюсь, вы отлично поживаете. В этом купе едут двое. Как дела? Вокруг собралось семнадцать тысяч четыреста семьдесят девять духов, но вы их не видите. Здесь Пифагор. Он не смеет навязываться, но надеется, вам нравится путешествовать».

Наведывался также и Галилей со свойственным ему научным складом ума:

«Рад видеть вас, amico. Come sta? Когда похолодает, водичка замерзает. Addio!»[1]

Также в течение ночи происходили и прочие феномены. Епископ Батлер, к примеру, настоял на том, чтобы лично начертать свое имя: «Баблер», за каковую погрешность против орфографии и хороших манер был прогнан с позором. Джон Мильтон (подозреваемый в коварной мистификации) отрекся от авторства «Потерянного Рая» и в качестве соавторов этой поэмы представил двоих Неизвестных, именуемых соответственно Грунджерс и Скадгинтон. А принц Артур, племянник английского короля Джона, сообщил, что уютно пристроился в седьмом круге, где учится рисовать по бархату под руководством миссис Триммер и королевы Марии Шотландской.

Если этим строкам суждено попасться на глаза джентльмену, почтившему меня всеми этими потрясающими разоблачениями, надеюсь, он простит мне признание, что от вида восходящего солнца и созерцания величественного порядка, царящего в безбрежной Вселенной, разоблачения эти мне прискучили. Сказать начистоту, они прискучили мне настолько, что я был безмерно рад выйти на следующей же остановке и сменить сии туманы и спиритические испарения на свежий воздух поднебесья.

К тому времени разгорелось чудесное утро. Я медленно брел по листве, успевшей уже нападать с золотых, охряных и алых дерев, любовался чудесами Творения, размышляя о постоянных, неизменных и

гармоничных законах, коим все они подчиняются — и попутчик мой, беседующий с духами, представлялся мне все более и более жалким экземпляром из числа всевозможных курьезов, какие дарит нам дорога. В таком вольнодумном настроении я приблизился к дому и остановился, чтобы повнимательнее рассмотреть его.

Этот уединенный дом, стоявший в прелестном, но пребывающем в самом плачевном небрежении саду площадью около двух акров, судя по виду, принадлежал к эпохе правления Георга Второго и был столь чопорен, холоден, строг и безвкусен, что не разочаровал бы даже самого ревностного почитателя всей четверки Георгов вместе взятых. В нем давно никто не жил, но пару лет назад его по дешевке отремонтировали и вновь сделали годным к жилью. Я сказал «по дешевке», потому что все работы были выполнены весьма поверхностно и краски и штукатурка, не успев поблекнуть, начали уже осыпаться. Кривобокая доска, приколоченная к стене сада, возвещала, что дом «находится в превосходном состоянии и полностью меблирован». К дому со всех сторон подступали деревья, и подступали, пожалуй, даже слишком близко, а росли слишком густо. Например, шесть высоких тополей загораживали передние окна, которые и сами по себе навевали тоску и расположены были куда как неудачно.

Нетрудно было заметить, что это был дом, которого все сторонятся — дом, которого чуждается деревня (мой взгляд выискал по церковному шпилю примерно в полумиле от места, где я стоял) — дом, где никто не захочет поселиться. Резонно было заключить, что за особняком этим закрепилась дурная слава дома с привидениями.

Ни один час из всех двадцати четырех, что составляют день и ночь, не кажется мне столь торжественным и серьезным, как раннее утро.

Летом я частенько поднимаюсь ни свет ни заря и уединяюсь у себя в комнате, чтобы покончить с дневной работой еще до завтрака. И всякий раз я бываю глубоко поражен царящими вокруг безмолвием и одиночеством. Вдобавок есть нечто потрясающее в том, что тебя окружают спящие знакомые лица и ты осознаешь вдруг, что те, кто безмерно дорог тебе и кому безмерно дорог ты, полностью отчуждены от тебя и даже не подозревают о таинственном состоянии, в коем пребывают — замершая жизнь, отрывочные нити вчерашнего дня, покинутые скамейки, закрытые книги, не оконченные, но заброшенные дела — все напоминает о Смерти. Неподвижность этого часа — как неподвижность Смерти. Размытые краски и утренняя прохлада навевают те же мысли. Даже самые обыденные домашние предметы, вырисовываясь из ночных теней в первых утренних лучах, кажутся новее, кажутся такими, какими были они давным-давно,

напоминая нам о том, как изнуренное старое лицо после смерти вновь молодеет и становится юным. Более того, однажды в этот час я видел призрак моего отца. Он был еще жив и здоров, и явление это не имело никаких последствий, но я видел его при ярком свете. Он сидел спиной ко мне на стуле возле моей кровати, склонив голову на руки, но дремлет ли он или же горюет о чем-то, я не мог разобрать. Изумясь видеть его здесь, я сел и уставился на него. Поскольку он оставался недвижим, я несколько раз окликнул его, но когда он и тогда не шелохнулся, я встревожился и хотел тронуть его за плечо — но рука моя нащупала лишь пустоту.

По всем вышеизложенным причинам, равно как и прочим, изложить которые не так просто и быстро, я считаю раннее утро самым подходящим временем для призраков. Для меня любой дом в большей или меньшей степени заселен ими ранним утром и дом с привидениями не может получить для себя лучших преимуществ, нежели предстать предо мной в этот час.

Размышляя о заброшенном доме, я спустился к деревне и отыскал там хозяина маленькой гостиницы — он как раз подметал крыльцо. Я заказал завтрак и завел речь на интересующую меня тему.

— Там водятся привидения? — осведомился я. Хозяин покосился на меня и покачал головой.

— Я не стану об этом говорить.

— Значит, водятся?

— Что ж! — вскричал хозяин в припадке откровения, которое подозрительно смахивало на отчаяние. — Я бы не стал там ночевать!

— Отчего же?

— Коли мне было бы по вкусу, когда все колокола в доме так и заливаются, хотя никто не звонит в них, а двери так и хлопают, хотя никто в них не входит, и слышится страшный топот, хотя топать-то и некому, ну тогда да, тогда я именно там и устроился бы на ночлег.

— А там что, кого-нибудь видели?

Хозяин снова покосился на меня, а потом с прежним выражением отчаяния возопил, повернувшись к конюшне:

— Айки!

На зов явился краснолицый и круглощекий юный увалень с короткими белобрысыми вихрами, большущим ухмыляющимся ртом и задорно вздернутым носом. Одет он был в пурпурно-полосатую рабочую куртку с кучей перламутровых пуговиц, которые, казалось, сами росли на нем и грозили, ежели их не прополоть, скоро покрыть его с головы до ног.

— Джентльмен хочет знать, — сказал хозяин, — видели ли кого-

нибудь в Тополях.

— Женщину в плаще с сово-о-ою.

— С воем?

— С совой, сэр. Птицей, сэр.

— Женщина в плаще с совой. Боже праведный! Ты сам ее видел?

— А то как же. Сову видел.

— А женщину?

— Не так ясно, как сову, но они завсегда держатся вместе.

— А кто-нибудь еще видел женщину так же хорошо, как сову?

— Господи помилуй, сэр! Да кто угодно.

— Ну кто, например?

— Господи помилуй, сэр! Да кто угодно.

— Ну скажем, вон тот лавочник через улицу, тот, что как раз отпирает лавку, он видел?

— Перкинс? Господь с вами, Перкинс туда и близко не подойдет. Нет! — с чувством выпалил юный увалень. — Он не семи пядей во лбу, Перкинс-то, но уж и не настолько глуп.

(Тут трактирщик пробормотал, что Перкинс — он-то нет, Перкинс знает, что почем.)

— А кто такая… то есть, кем была раньше эта самая женщина с совой? Вы знаете?

— Ну! — Айки стащил шапку и, комкая ее в одной руке, другой рукой поскреб в затылке, — говорят, вообще-то, будто ее убили, а сова как раз тогда и ухала.

Таково весьма краткое изложение фактов, которые я смог из них выудить, если не считать еще того, что с неким парнем, «таким уж красавцем, таким душа-парнем, как-то раз аж падучая приключилась после встречи с *ней* ». А еще один персонаж, смутно описанный мне, как «ловкач такой, даром что одноглазый, откликается на Джоби, если вы его не покличите Гринвудом, а тогда он говорит: „Почему бы и нет, а даже коли и так, не суйтесь не в свое дело“, встречал эту самую женщину в плаще раз этак пять, а не то и все шесть. Впрочем, подобные свидетели меня не больно-то устроили, поскольку первый из них находился сейчас где-то в Калифорнии, а второй, по словам Айки (горячо подтвержденным трактирщиком) мог быть Где Угодно.

Признаться, хотя я и отношусь с почтительным и благоговейным ужасом ко всем тайнам, между которыми и нашим бренным существованием пролег барьер величайшего испытания и изменения, коему подвержены все живые создания; и хотя я отнюдь не дерзаю утверждать,

что знаю об этих тайнах все; но в моем сознании обычное хлопание дверей, звон колокольчиков, поскрипывание половиц и тому подобные мелочи увязываются с величественной красотой и пронизывающей беспристрастностью тех Божественных Законов, кои мне дозволено понимать, ничуть не лучше, нежели беседы с духами моего недавнего попутчика вяжутся с колесницей восходящего солнца. Более того, мне самому дважды доводилось жить в домах с привидениями — в чужих странах. В одном из них, старинном итальянском палаццо с необычайно дурной репутацией, из-за которой он дважды менял владельцев, я провел восемь приятнейших и спокойнейших месяцев, невзирая на то, что в доме имелось множество загадочных спален, где никто не жил, и большая гостиная, где я, бывало, часами сидел за чтением, а располагалась она рядом с комнатой, в которой я спал, — пользовалась самой дурной славой. Я осторожно намекнул трактирщику на эти обстоятельства. Что же до конкретно этого дома с привидениями, попробовал я вразумить его, то — Боже праведный! — как много различных вещей незаслуженно получили дурную славу и как легко вообще ее получить, и не думает ли он, что ежели мы с ним постоянно будем нашептывать всем и каждому в деревне, что какой-нибудь соседский пьяница-лудильщик со зловещей физиономией продал душу Дьяволу, то весьма скоро его и впрямь будут подозревать в подобной невыгодной сделке! Но, вынужден признать, все эти разумные речи не произвели на трактирщика ровным счетом никакого впечатления и были одним из величайших провалов в моей жизни.

Короче говоря, этот дом столь возбудил мое любопытство, что я почти уже решился поселиться в нем. Засим после завтрака, взяв ключи у Перкинсовского зятя (который изготовлял конскую сбрую и кнуты, держал по совместительству почту и находился под каблуком жены, безжалостнейшей матроны), я отправился к дому в сопровождении трактирщика и Айки.

Внутри, как я и ожидал, царило унылое запустение. Медленно скользящие тени растущих за окном высоких деревьев, навевали глубочайшую тоску. Дом был плохо задуман, плохо построен, плохо отделан и стоял на неудачном месте. Там было сыро и пахло гнилью и крысами — дом стал сумрачной жертвой того трудноописуемого упадка, что охватывает любое творение человеческих рук, ежели оно не приспособлено к удобству своих создателей. Кухня и прочие подсобные помещения были чрезмерно велики и чрезмерно удалены друг от друга. Ведущие вверх и вниз лестницы, бесцельные пустые переходы разделяли жилые участки, представленные комнатами; а старинный заплесневелый

колодец, подернутый зеленью, таился, точно злодейский люк, где-то внизу, за черной лестницей, под двумя рядами колоколов и колокольчиков. Один из них был подписан выцветшими белыми буквами по черному фону: «Мастер Б.». Этот-то колокол, сообщили мне мои провожатые, и звонил чаще прочих.

— А кем был этот мастер Б.? — спросил я. — Известно ли, чем он занимался, когда кричала сова?

— Звонил в колокол, — сказал Айки.

С этими словами юный увалень с поразительной ловкостью зашвырнул свою меховую шапку прямо в колокол, отчего тот, разумеется, звякнул. Это был громкий, неблагозвучный колокол, и звонил он соответственно. Прочие колокола были подписаны согласно названиям комнат, к которым вели их шнурки: «Комната с Картинами», «Двойная Комната», «Комната с Часами» и так далее. Следуя за шнурком мастера Б., я выяснил, что сей юный джентльмен ютился в неприметной третьеразрядной треугольной комнатенке под самой крышей, с камином в углу, судя по которому, мастер Б., похоже, был крайне мал ростом, если мог согреться у этого камелька. В углу же располагалась каминная полка, похожая на винтовую лесенку для Мальчика-с-пальчик. Обои на одной стене были почти полностью ободраны и свисали, чуть не заклинивая дверь. Кое-где на них налипли куски штукатурки. Создавалось впечатление, будто мастер Б., в своем духовном, так сказать, состоянии, был особенно пунктуален по части сдирания обоев. Ни трактирщик, ни Айки понятия не имели, с чего это ему вздумалось выставлять себя на посмешище таким дурацким образом.

Никаких ужасных открытий кроме того, разве, что чердак был, пожалуй, излишне великоват, сделать мне не удалось. Дом был и вправду «полностью меблирован» — только меблирован скудно. Часть обстановки — скажем, треть — была стара, как сам дом; остальная принадлежала различным периодам последней половины века.

Справиться о доме, как мне сказали, можно было у торговца зерном на базарной площади в ближайшем городке. Я отправился туда в тот же день и снял дом на шесть месяцев.

Стояла середина октября, когда я въехал в него с моей незамужней сестрой (рискну сказать, что ей тридцать восемь лет и она чрезвычайно хороша собой, разумна и деловита). С собой мы взяли глухого конюха, моего бладхаунда Турка, двух служанок и малолетнюю особу по прозвищу Чудачка. У меня есть веские причины сказать по поводу этой последней, которая попала к нам из Женского Сиротского Приюта святого Лаврентия,

что она оказалась роковой ошибкой и тем еще подарочком.

Когда мы вошли во владение особняком, год катился к исходу, падала последняя листва, день выдался пронизывающий и холодный, и царящий в доме сумрак казался особенно удручающим. Завидев кухню, кухарка (женщина добродушная, но не блещущая интеллектом) разразилась слезами и завешала, чтобы, если эта сырость сведет ее в безвременную могилу, ее серебряные часы отдали бы ее сестре (Туппинток-гарденс, Лиггсова Аллея, Клафамский Бугор, дом 2). Стрикер, горничная, с видом великомученицы попыталась изобразить восторг. Одна лишь Чудачка, никогда раньше и в бывавшая в деревне, была радешенька и вознамерилась зарыть в садике под окном судомойни желудь, чтобы из него поскорее вырос могучий дуб.

Еще до наступления темноты мы подверглись всем естественным — в противовес грядущим сверхъестественным — напастям, связанным с нашей прислугой. Обескураживающие сообщения во множестве поднимались (точно дым) из подвалов и спускались с чердаков. На кухне не оказалось скалки, на кухне не оказалось формы для пудинга (что меня вовсе не удивило, поскольку я и не подозревал, что это за штука такая) — в доме не оказалось наинужнейших вещей, а что и было в наличии, то было сломано, должно быть, последние его обитатели жили хуже свиней и куда только хозяева смотрели? Все эти житейские неприятности Чудачка перенесла жизнерадостно и беззаботно. Но не прошло и четырех часов после наступления темноты, как мы вступили в сверхъестественное русло — и Чудачка завопила «Глаза!» и забилась в истерике.

Мы с сестрой специально условились помалкивать о ходящих вокруг дома слухах, и я был уверен — да и по сей день пребываю в этой уверенности — что пока Айки помогал разгружать экипаж, и ни на мгновение не оставлял его наедине с женщинами или хоти бы одной из них. И все же, говорю вам, не пробило еще и девяти, как Чудачка уже «видела Глаза» (иных объяснений вытянуть из нее не удалось), а к десяти часам на нее было вылито столько уксуса, что хватило бы замариновать крупного лосося.

Предоставляю проницательным читателям самим судить, каковы были мои чувства, когда при подобных обстоятельствах примерно около половины одиннадцатого колокол мастера Б. начал звонить как заведенный, а Турк принялся выть, пока весь дом не наполнился его причитаниями.

Надеюсь, что мне никогда больше не доведется пребывать в столь нехристианском состоянии духа, как то, в каком я жил несколько недель благодаря мастеру Б. Звонил ли его колокольчик из-за крыс, мышей,

летучих мышей, ветра, каких-то случайных вибраций или же еще каких-то причин в отдельности или же всех в совокупности, я не знаю — знаю лишь, что он звонил две ночи из трех, пока мне наконец не пришла счастливая идея свернуть мастеру Б. шею — иными словами, подвязать язычок его к колоколу — и тем самым утихомирить молодого джентльмена, как подсказывает мне надежда и жизненный опыт, навсегда.

Но к тому времени Чудачка развила в себе уже столь потрясающие способности к каталепсии, что стала ярчайшим образцом этого весьма неудобного в быту заболевания. В самых неуместных обстоятельствах, чуть что, она замирала точно Гай Фокс в минуту помрачения разума. Я обратился к служанкам с речью, пытаясь ясным языком указать им, что я выкрасил комнату мастера Б. и покончил с облезающими обоями, что я подвязал колокол мастера Б. и покончил с ночным трезвоном, и что коли уж они могут представить, что этот незадачливый юнец жил и скончался, а после кончины начал вести себя столь недостойным образом, что за такое поведение ему в первом его существовании не миновать бы самого тесного знакомства с березовой кашей — так вот, коли они готовы представить себе все это, так почему не могут тогда согласиться и с тем, что самое обычное земное создание — ну вот как я — способно изыскать средства, чтобы этими презренными методами положить конец проделкам разбуянившихся бесплотных духов? — говорил я довольно-таки горячо и, как не без самодовольства считал, убедительно, как вдруг, без малейшей на то причины, Чудачка закоченела от башмаков до макушки и вытаращилась на нас, точно допотопная окаменелость.

Стрикер, горничная, в свою очередь, выказывала признаки весьма удручающего расстройства. Затрудняюсь сказать, была ли она чересчур впечатлительна, или что еще, но эта молодая женщина стала настоящим перегонным кубом, производившим самые громадные и самые прозрачные слезы, какие мне только доводилось видеть. Наряду с этой особенностью она обладала способностью удерживать их на себе, не давая упасть, так что они свисали с ее носа и Щек. В таком вот виде, да еще кротко и горько покачивая головой, она без единого слова могла привести меня в большее потрясение, нежели смог бы сам неподражаемый Кричтон словесным диспутом о кошельке с деньгами. Кухарка же отлично завершала хорошенькую компанию своими беспрестанными жалобами на сырость, которая непременно сведет ее в могилу, и смиренными повторениями последней ее воли касательно серебряных часов.

Что же до нашей ночной жизни, то меж нами царила зараза страхов и подозрений, и нет под небесами заразы хуже этой. Женщина в плаще?

Согласно всем показаниям, мы находились просто-таки в женском монастыре, где плащ был формой одежды. Шумы? Сам подвергшись воздействию этой заразы, я сидел в мрачноватой маленькой гостиной, напряженно прислушиваясь, пока не услышал столько шумов, да притом столь подозрительных, что кровь наверняка бы застыла у меня в жилах, когда бы я не согрел ее тем, что ринулся проводить расследование. А попробуйте-ка полежать так в кровати, глубокой ночью. Попробуйте в вашей собственной уютной спальне прислушаться к тому, как живет ночь. Да вы, если пожелаете, любой дом наполните шумами, пока не подыщете по отдельному страшному шуму на каждый отдельный нерв вашей нервной системы.

Повторяю: зараза страхов и подозрений царила меж нами, и нет под небесами заразы хуже этой. Женщины (с носами, неизменно опухшими от злоупотребления нюхательной солью) всегда держались чопорно, были подвержены обморокам и чуть что, выходили из себя. На любую вылазку, что казалась хоть мало-мальски рискованной, две старшие неизменно отправляли Чудачку, и она столь же неизменно подтверждала репутацию этих авантюр, возвращаясь в столбняке. Если кухарке или Стрикер требовалось подняться на чердак после наступления темноты, мы уже знали, что в самом скором времени услышим над головой жуткий грохот; и это происходило так регулярно, словно специальный хорошо обученный вышибала нанят был шататься по дому, демонстрируя каждому встречному домочадцу пример своего мастерства.

Напрасно было и пытаться что-то предпринимать. Напрасно было, на мгновение самому испугавшись настоящей совы, затем показывать ее всем окружающим. Напрасно было выяснять, извлекая из пианино произвольные звуки, что Турк всегда воет от некоторый нот и мелодий. Напрасно было изображать Радаманта по отношению к колоколам и тут же подвязывать язычок тому из них, кому не посчастливится зазвонить без позволения. Напрасно было жечь огонь В каминах, спускать факел в колодец, внезапно врываться во все подозрительные комнаты и альковы. Мы меняли слуг, но лучше не становилось. Наконец наше уютное хозяйство пришло в такое расстройство и жалостное состояние, что однажды вечером я подавленно сказал своей сестре:

— Патти, я начинаю отчаиваться. Слуг жить с нами здесь не заставишь. Боюсь, нам пора сдаться.

Моя сестра, наделенная непоколебимым духом, ответила:

— Нет, Джон, не сдавайся. Не вешай нос, Джон. Есть другой выход.

— И какой же? — спросил я.

— Джон, — начала сестра, — если мы не собираемся выезжать отсюда, а уж нам-то с тобой яснее ясного, что никаких причин на то нет, мы должны сами все наладить и полностью взять дом в свои руки.

— Но как же слуги? — вопросил я.

— Обойдемся без слуг, — отважно заявила сестра.

Подобно большинству людей моего класса, я никогда и не думал о возможности делать что-то без этих верных помех. Идея показалась мне столь новой, что я посмотрел на сестру весьма недоверчиво.

— Мы же знаем, что они приходят сюда, уже готовые и сами бояться, и других запугивать, и мы знаем, что они и сами боятся, и других запугивают.

— За исключением Боттлса, — задумчиво отозвался я.

(Глухой конюх. Я сохранил его у себя на службе, и он служит мне и по сей день, как непревзойденный в Англии феномен нелюдимости).

— Разумеется, Джон, — согласилась сестра, — кроме Боттлса. И что это доказывает? Боттлс ни с кем не разговаривает и никого не слышит, если не орать ему в самое ухо, и какие от него тревоги и неприятности? Никаких!

Истинная правда: обсуждаемый персонаж каждый вечер ровно в десять укладывался спать в комнате над каретным сараем в обществе лишь кочерги и ведра с водой. И я раз и навсегда запомнил, что если бы после этого мига без предупреждения вломился бы к нему, это самое ведро мгновенно оказалось бы у меня за шиворотом, а кочерга проехалась бы по моей голове. При всех наших многочисленных переполохах Боттлс обычно и ухом не вел. Частенько за ужином, когда Стрикер валялась в обмороке, а Чудачка уподоблялась статуе, этот невозмутимый и бессловесный человек преспокойно уписывал за обе щеки картофель или, пользуясь всеобщим смятением, налегал на мясной пирог.

— Итак, — продолжала моя сестра, — Боттлса я исключаю. И учитывая, Джон, что дом слишком велик и, наверное, слишком заброшен, так что мы не можем хорошо управляться с ним с помощью одного только Боттлса, я предлагаю выбрать из числа наших друзей самых верных и приятных нам… и на три месяца создать тут что-то вроде Содружества… самим за собой ухаживать… жить весело и дружно… и посмотреть, что из этого выйдет.

Я был так очарован моей сестрой, что тут же на месте горячо обнял ее и пылко одобрил ее план.

Пошла уже третья неделя ноября, но мы столь рьяно взялись за приготовления и друзья, которым мы доверились, столь ревностно нас

поддержали, что до исхода месяца оставалась еще неделя, а вся наша братия уже весело собралась в доме с привидениями.

Тут пришло время упомянуть о двух мелких изменениях в домашнем укладе, что сделал я, пока мы с сестрой жили одни. Мне пришло в голову, что Турк, весьма вероятно, воет по ночам оттого, что ему хочется выйти — засим я поселил его в будке во дворе, но не на цепи, и самым серьезным образом предупредил в деревне, что любому, кто попадется ему на дороге, едва ли удастся уйти без отпечатков его зубов на горле. Затем я невзначай осведомился у Айки, разбирается ли он в ружьях. А когда он ответил: «О да, сэр, я уж сумею узнать хорошее ружье, если увижу его», — я предложил ему зайти в дом и поглядеть на мое.

— *Эта* штука что надо, сэр, — произнес Айки, вдоволь налюбовавшись на двустволку, которую я купил в Нью-Йорке несколько лет назад. — Уж это точно.

— Айки, — сказал я, — только между нами: я видел кого-то в этом доме.

— Взаправду, сэр? — прошептал он, жадно раскрыв глаза. — Даму в плаще?

— Не пугайся, — успокоил его я. — Эта фигура больше смахивала на твою.

— Боже праведный, сэр?

— Айки! — произнес я, горячо, можно даже сказать, пылко, пожимая его руку, — если во всех этих историях про призраки есть хоть крупица правды, то величайшая услуга, какую только я могу оказать тебе — это стрелять по той фигуре. И клянусь тебе Небом и Землей, я выстрелю из того самого ружья, что ты видел.

Парень поблагодарил меня и распрощался, пожалуй, с излишней поспешностью, осушив перед этим стакан ликера. Я поделился с ним своим секретом отчасти потому, что так и не забыл, как преловко запустил он шапку в колокол, а отчасти потому, что как-то ночью после того, как колокол очередной раз неожиданно прозвенел, заметил неподалеку от него что-то, весьма смахивающее меховую шапку; и потому еще, что, по моим наблюдениям, каждый раз, как он навещал нас вечерком, чтобы успокоить прислугу, мы переживали самые привиденческие времена. Не будем же слишком несправедливы к Айки. Он боялся этого дома и верил, что там водятся привидения — и все же развлекался, подделываясь под них, при каждом удобном случае. С Чудачкой была ровно такая же история. Она постоянно пребывала в состоянии самого неподдельного ужаса, и все же охотно врала самым чудовищным образом и выдумывала большую часть

всех тревог, которые поднимала, давала многие из непонятных звуков, что мы слышали. Я приглядывал за этой парочкой, и знаю это наверняка. Мне вовсе ни к чему объяснять здесь это нелепое состояние мыслей; скажу лишь, что оно хорошо знакомо любому умному человеку, который имеет медицинскую, судебную или иную практику, связанную с наблюдением за человеческой природой и что оно столь же общеизвестно и распространено, как и любое другое, известное наблюдателям; и что в любом случае, подобном нашему, именно его надлежит заподозрить в первую очередь, а заподозрив, искать тому подтверждения.

Вернемся к нашему содружеству. Первое, что сделали мы, собравшись вместе, это вытянули жребии, кому в какой спальне спать. Потом, исследовав весь дом, мы распределили всевозможные домашние обязанности, как будто всей компанией съехались на вечринку, прогулку на яхте или охоту или потерпели кораблекрушение. Затем я перечислил все слухи, что ходили про даму в плаще, сову и мастера Б., равно как и прочие, еще более неопределенные, что успели расползтись за время нашего пребывания и относили какому-то смехотворному старому призраку женского пола, который бродил вверх-вниз, волоча за собой призрак круглого стола, а еще про некоего неуловимого осла, которого никто не мог поймать. Сдается мне, будто все эти домыслы наша прислуга умудрялась каким-то болезненным образом внушать друг другу, не обмениваясь ни единым словом. Затем мы торжественно призвали друг друга в свидетели, что собрались здесь не для того, дабы обманывать или обманываться — мы считали, что оба эти состояния суть одно и то же — и что с полнейшей ответственностью будем абсолютно честны друг с другом и будем неуклонно следовать истине. Мы договорились, что любой из нас, кто услышит вдруг ночью необычные звуки и захочет проследить их, постучит в мою дверь; и наконец, что в Двенадцатую Ночь, последнюю ночь Святого Рождества каждый отдельный опыт каждого из нас, начиная с момента прибытия в дом с привидениями, будет вынесен на свет всеобщего обозрения ради общего блага, а до той поры мы будем хранить его каждый про себя, если только что-либо непредвиденное не заставит нас нарушить молчание.

И вот кто собрался под нашей гостеприимной крышей: Во-первых — чтобы поскорее отделаться от нас с сестрой — были мы двое. По жребию моей сестре досталась ее прежняя комната, а я вытянул мастера Б. Далее, с нами был наш кузен Джон Гершелл, названный так в честь великого астронома, про которого я считаю, что не рождался еще на свет человек, лучше него управлявшийся с телескопом. С ним приехала его жена:

очаровательное создание, на котором он женился прошлой весной. Я подумал (учитывая обстоятельства), что несколько опрометчиво было брать ее с собой, потому что кто знает, что может натворить ложная тревога в такое время — но решил все же, что ему лучше судить о своих делах, а от себя готов прибавить, что, будь она моей женой, я бы ни за что не расстался с таким прелестным и ясным личиком. Им досталась Комната с Часами. Альфред Старлинг, мой исключительно милый молодой друг двадцати восьми лет отроду, вытянул Двойную Комнату, которую прежде занимал я. Своим названием она была обязана тому, что в ней находилась еще и гардеробная с двумя огромными нелепыми окнами, которые, сколько я не подбивал под них клинья, не переставали дребезжать ни при какой погоде, вне зависимости от ветра. Альфред — чрезвычайно приятный юноша, он изо всех сил претендует на звание «гуляки» (еще один синоним «бездельника», насколько я понимаю это слово), но слишком умен и деятелен для всей этой чепухи и, безусловно, мог бы уже немало преуспеть на жизненном поприще, когда бы отец его не имел неосторожности оставить ему независимый капиталец в две сотни в год, в силу чего единственным его занятием является проживать шесть сотен. Тем не менее, я все же еще надеюсь, что банк его может лопнуть или же сам он может ввязаться в какую-нибудь сомнительную спекуляцию из тех, что обещают принести двести процентов прибыли, — я убежден, что если бы только ему удалось прогореть, судьба его, считай, у него в кармане. Белинда Бейтс, закадычная подруга моей сестры, в высшей степени умная, приветливая и славная девушка, получила Комнату с Картинами. Белинда имеет несомненный дар к поэзии наряду с настоящими деловыми качествами, а вдобавок еще и «подвинута» (пользуясь выражением Альфреда) на Призвании Женщины, Правах Женщины, Обидах Женщины и всем прочем, чем Женщина с большой буквы незаслуженно обделена или же, напротив, от чего бы хотела избавиться.

— Конечно, дорогая моя, все это в высшей степени похвально и Небеса вознаградят вас за это, — шепнул я ей в первый же вечер, расставаясь с ней у двери Комнаты с Картинами, — только смотрите, не переусердствуйте. И при всем почтении к несомненной необходимости даровать Женщине больше радостей жизни, нежели покуда даровала ей наша цивилизация, не набрасывайтесь на злополучных мужчин — хотя, быть может, на первый взгляд все они до единого и кажутся жестокими угнетателями вашего пола, но, Белинда, поверьте мне, что они иногда тратят все свои сбережения среди жен, дочерей, сестер, матушек, тетушек и бабушек и что пьеса жизни на самом-то деле называется отнюдь не

«Красная Шапочка и Серый Волк».

Однако, я отклоняюсь от темы. Итак, Белинда заняла Комнату с Картинами и у нас осталось только три свободных спальни — Угловая Комната, Буфетная Комната и Садовая Комната. Мой стат рый друг, Джек Гувернер, как он выражается, «подвесил койку» в Угловой Комнате. Я всегда считал Джека одним из лучших моряков в мире. Он уже сед, но все же не менее красив, чем четверть века тому назад — нет, даже, пожалуй, стал еще красивее. Это жизнерадостный крепко сбитый и широкоплечий здоровяк с открытой улыбкой, сверкающими черными глазами и черными, как смоль, бровями. Я помню их в обрамлении столь же черных волос и должен сказать, что под серебристой сединой они смотрятся еще лучше. Наш Джек, он побывал повсюду, где развевается по ветру его знаменитый тезка, и даже в далях Средиземноморья и по ту сторону Атлантики мне доводилось встречать его старинных товарищей по кораблям, которые при случайном упоминании его имени светлели и восклицали: «Вы знакомы с Джеком Гувернером? Значит, вы знаете настоящего принца морей!» Вот он какой! Вся его внешность столь безошибочно выдает в нем военного моряка, что доведись вам повстречать его где-нибудь в эскимосском иглу в одеянии из тюленьих шкур, у вас все равно осталась бы смутная уверенность, что он был в полной морской амуниции.

Когда-то яркие глаза Джека были устремлены на мою сестру, но случилось все же так, что он женился на другой и увез ее с собой в Южную Америку, где бедняжка умерла. Случилось это уже более десяти лет тому назад. Он привез с собой в дом с привидениями небольшой мешок солонины, потому что пребывает в неколебимом убеждении, будто солонина, которую он не сам выбирал, просто тухлятина. Каждый раз, как он навещает Лондон, он не забывает прихватить ее с собой. Также он вызвался привезти с собой некого «Ната Бивера», старинного своего приятеля, капитана торгового судна. Мистер Бивер, с его деревянным выражением лица и деревянной же фигурой, с виду совершенный чурбан, оказался весьма неглупым человеком с необъятным опытом мореплавании и обширными практическими знаниями. Временами на него нападала вдруг странная нервозность — по-видимому, результат какой-то старой болезни, но она редко длилась подолгу. Ему досталась Буфетная Комната, а в следующей разместился мистер Андери, мой друг и поверенный, который приехал в качестве любителя «посмотреть, в чем тут дело» и который играет в вист лучше всего Адвокатского Списка в красном сафьяновом переплете.

Это были счастливейшие дни моей жизни, и я надеюсь, что они были

счастливейшими и для моих друзей. Джек Гувернер, человек недюжинных талантов, стал шеф-поваром и готовил нам блюда, лучше которых мне пробовать еще не доводилось, включая и бесподобные карри. Сестра моя была кондитером. Мы со Стерлингом исполняли роль Кухонных Мальчиков на побегушках, а при особых случаях шеф-повар «привлекал» мистера Бивера. У нас хватало работы и помимо домашнего хозяйства, но в доме ничто не находилось в небрежении, а между нами не было никаких ссор и размолвок и наши совместные вечера протекали столь приятно, что у нас имелась по крайней мере одна причина не торопиться расходиться по постелям.

Первое время у нас было несколько ночных тревог. В первую же ночь ко мне постучался Джек Гувернер с диковинной корабельной лампой в руках, похожей на жабры какого-то глубоководного морского чудовища, и уведомил меня, что «собирается подняться на главный клотик» и снять флюгер. Ночь выдалась ненастная, и я воспротивился, но Джек обратил мое внимание на то, что скрип флюгера напоминает жалобный плач и, если его не убрать, может показаться кому-нибудь воем призраков. Так что мы в сопровождении мистера Бивера залезли на крышу, где ветер едва не сбивал меня с ног, а потом Джек, лампа и замыкающий мистер Бивер вскарабкались на самый конек крыши, примерно в двух дюжинах футов над каминными трубами, и там стояли без всякой опоры, преспокойно отдирая флюгер, пока наконец от ветра и высоты оба они не пришли в такое прекрасное расположение духа, что я боялся, они так никогда и не слезут. На следующую ночь они вернулись туда снять колпаки над трубами, на следующую — убрали хлюпающий и булькающий водосток. Еще на следующую — выдумали чтото еще. И еще несколько раз оба они без малейших раздумий выскакивали прямо из окон своих респектабельных спален, чтобы «исследовать что-то подозрительное в саду».

Все мы свято придерживались соглашения и ничего друг другу не рассказывали. Единственное, что мы знали, — это то, что если какая-нибудь спальня и была посещаема духами, то никто от этого хуже не выглядел. Пришло Рождество, и мы устроили замечательный рождественский пир (все до единого помогали готовить пудинг), и настала Двенадцатая Ночь, и нашего запаса миндаля и изюма хватило бы до скончания наших дней, а наш пирог являл собой поистине великолепное зрелище. А потом, когда все мы расселись вкруг стола у огня, я огласил условия нашего договора и вызвал, в первую очередь

Призрак комнаты с часами

Мой кузен, Джон Гершелл, сперва покраснел, потом побледнел и наконец признался, что не может отрицать: комната его и в самом деле удостоилась посещения некого Духа — Духа Женщины. В ответ на наши дружные расспросы, был ли тот Дух ужасен или безобразен собой, кузен мой, взяв жену за руку, решительно отвечал: «Нет». На вопрос же, видела ли этот Дух его жена, он ответил утвердительно.

— А говорил ли он с вами?

— О да!

Касательно же вопроса, что именно сказал Дух, Джон виновато проговорил, что предпочел бы предоставить право ответа своей жене, поскольку та справится с этим делом не в пример лучше него. Тем не менее, сказал Джон, она заставила глаголить от имени Духа именно его, а посему ему ничего не остается, кроме как приложить к тому все усилия, уповая, что в случае чего она его поправит.

— Считайте, — добавил он, наконец приготовившись начать рассказ, — что Дух — это и есть моя жена, сидящая рядом с вами.

«Я осталась сиротой еще в младенчестве и воспитывалась с шестью старшими сводными сестрами. Долгое и упорное воспитание надело на меня ярмо второй, совершенно несхожей с природной, натуры, и я выросла в той же мере дитем своей старшей сестры Барбары, как и дочерью покойных родителей.

Барбара со свойственной ей непреклонной решимостью, с коей улаживала как домашние дела, так и личные свои планы, постановила, что сестры ее, все как одна, должны выйти замуж. И столь могущественна оказалась ее одинокая, но непреклонная воля, что все как одна были удачно пристроены — все, кроме меня, на которую она возлагала самые большие надежды.

Какой я выросла, можно описать в двух словах, ибо всякий живо узнает во мне широко распространенный характер. Немало сыщется на белом свете девушек вроде меня, какой я была раньше — взбалмошная кокетливая девчонка с единственной целью в жизни — найти и очаровать подходящего жениха. Я была вполне хорошенькой, бойкой и в меру сентиментальной — как раз настолько, чтобы в моем обществе было весьма приятно провести часок-другой, да и самой мне льстило любое, пусть даже самое пустячное проявление внимания со стороны любого

свободного мужчины, так что я активно добивалась этих знаков внимания. Во всей округе не нашлось бы молодого человека, с которым бы я не флиртовала. В подобных занятиях я провела семь лет и встретила свой двадцать пятый день рождения, так и не достигнув заветной цели, когда терпение Барбары истощилось и она обратилась ко мне с прямотой и недвусмысленностью, которых мы всегда старались избегать, ибо есть предметы, по поводу которых лучше хранить молчаливое взаимопонимание, чем высказываться вслух.

— Стелла, — торжественно сказала она, — тебе уже двадцать пять, а все твои сестры обзавелись своим домом задолго до этих лет, хотя ни одна из них не была столь хороша собой и одарена, как ты. Но я должна открыто предупредить тебя, что время твое на исходе, и если ты не постараешься как следует, то все наши планы рухнут. Я сумела найти ошибку, которую ты допускаешь и которую я не замечала прежде. Наряду со слишком уж явным и неприкрытым кокетством — на которое молодые люди взирают всего лишь как на приятное времяпрепровождение — есть у тебя привычка вышучивать и высмеивать всякого, кто начнет глядеть на тебя хоть сколько-нибудь серьезно. Тогда как благоприятная возможность, напротив, таится именно в том моменте, когда они начинают выказывать задумчивость. Тогда и ты должна казаться смущенной и притихшей, терять былую живость и чуть ли не сторониться их, словно бы эта перемена поразила и даже напугала тебя. Легкая меланхолия действует несравненно лучше неуемной веселости, ибо если мужчина заподозрит, что ты можешь прожить без него хотя бы день, он о тебе больше и не подумает. Я могу назвать тебе с полдюжины самых выгодных партий, которые ты потеряла лишь оттого, что засмеялась в неподходящий момент. Помни, Стелла — хотя бы раз рань мужское самолюбие, и ты никогда уже не исцелишь эту рану.

Прежде чем ответить, я минуту-другую молчала — истинная моя, давно подавляемая натура, унаследованная от матери, узнать которую я не успела, пробудила в душе моей какое-то непривычное чувство.

— Барбара, — застенчиво произнесла я, — среди всех, кого я знаю, мне не встречался еще человек, которого я могла бы уважать и на которого я глядела бы снизу вверх. И которого… я почти стыжусь произнести это слово… я могла бы полюбить.

— Еще бы тебе не стыдиться, — ответила Барбара сурово. — Где уж тебе, в твоем-то возрасте, влюбиться с первого взгляда, точно семнадцатилетней девочке. Но скажу тебе коротко и ясно — ты должна выйти замуж, и отныне нам лучше добиваться этого вместе. Так что, как

только ты остановишь на ком-либо свой выбор, я приложу все усилия, чтобы помочь тебе, и если ты тоже пустишь в ход все свои способности, мы непременно преуспеем. Все, что тебе надо — чтобы избранник твой жил неподалеку.

— Но мне никто не нравится, — капризно ответила я, — а с теми, кто хорошо меня знает, и пробовать нечего, все равно не выйдет. Так что, пожалуй, я атакую Мартина Фрейзера.

Барабара встретила это заявление полунасмешливым, полусердитым фырканьем.

Наш край, изобилующий рудниками и месторождениями железа, был густо заселен, и хотя в соседях у нас насчитывалось несколько древних или очень высокопоставленных семейств, но большую часть населения составляли все же семьи одного с нами положения, образующие приятное, гостеприимное и дружное общество. Резиденциями нам служили удобные современные дома, выстроенные в разумном удалении друг от друга. Многие из этих домов, включая и наш, были собственностью некого слабого здоровьем престарелого джентльмена, обитающего в фамильном особняке — последнем из сонма деревянно-кирпичных домов с остроконечными крышами, выстроенных в правление королевы Елизаветы, что еще высился над пока не обнаруженными залежами руды и каменного угля. Последние представители вымирающей сельской аристократии, мистер Фрейзер и его сын вели жизнь сугубо замкнутую, избегая всяких контактов с соседями, на чью веселость и гостеприимство не могли ответить от чистого сердца. Никто не нарушал их уединения, за исключением разве что самых необходимых деловых посетителей. Старик был почти прикован к постели, а сын его, по слухам, всецело отдался занятиям наукой. Неудивительно, что Барбара засмеялась; однако ж насмешки ее лишь поддержали и укрепили мою решимость, и сама трудность достижения цели придавала ей интерес, которого так недоставало всем предыдущим моим попыткам. Я упрямо продолжала спорить с Барбарой, пока не вынудила ее согласиться.

— Напиши старому мистеру Фрейзеру, — наставляла я ее, — и даже не упоминая младшего, уведоми его, что твоя младшая сестричка изучает астрономию и, поскольку он владеет единственным телескопом во всей округе, ты будешь ему крайне признательна, если он позволит ей в него посмотреть.

— Хотя бы одно будет тебе на пользу, — отметила Барбара, принимаясь за письмо, — старый джентльмен некогда был увлечен твоей матерью.

О! Стыжусь даже вспоминать, как ловко мы провернули это дельце и вырвали у мистера Фрейзера любезное приглашение «дочери его старинной приятельницы, Марии Хорли».

Стоял февральский вечер, когда, в сопровождении одной лишь служанки — ибо на Барбару приглашение не распространялось — я впервые переступила порог жилища Мартина Фрейзера.

В доме царила атмосфера глубочайшего покоя. Я вошла туда со смутным и беспокойным ощущением, будто совершаю что-то дурное, едва ли не предательство. Спутница моя осталась в вестибюле, а я прошла в библиотеку, и тут меня вдруг одолела застенчивость, побуждающая отступиться от этой затеи, но я, вспомнив, как к лицу мне сегодня наряд, собралась с духом и с улыбкой вступила в комнату. Она оказалась низкой и мрачной, стены были обиты дубовыми панелями, тяжелая антикварная мебель отбрасывала причудливые тени в свете мерцающего огня, возле которого вместо самого затворника, Мартина Фрейзера, которого я ожидала увидеть, стояла странная маленькая девочка, одетая по-взрослому и с манерами и самообладанием взрослой женщины.

— Рада вас видеть. Добро пожаловать, — поздоровалась она, шагнув мне навстречу и протягивая руку, чтобы отвести меня к креслу. Пожатие ее руки оказалось решительным и твердым, дружеским и слегка покровительственным — совсем не похожим на обычное робкое и вялое пожатие детской ручонки. Указав мне кресло перед камином, она уселась напротив меня.

Отпустив несколько смущенных замечаний, на которые моя собеседница учтиво ответила, я принялась украдкой разглядывать ее. Огромный черный ретривер, прикрытый складками свободного длинного платья девочки, неподвижно растянулся у нее под ногами. На хрупких чертах лежала печать спокойствия, даже легкой печали; впечатление это усиливалось из-за ее привычки прикрывать глаза — привычки, которая редко встречается у детей и придает им некоторую величественность. Казалось, будто она погружена в глубокую внутреннюю беседу сама с собой — беседу, внешне не выражавшуюся ни словом, ни взглядом. Это безмолвное, похожее на маленькую колдунью существо начало даже пугать меня, и я обрадовалась, когда дверь отворилась и вошел сам объект моей охоты. Я с любопытством взглянула на него, ибо успела уже опомниться от ощущения, будто совершаю предательство, и меня забавляла мысль, что он ни сном, ни духом не ведает о наших видах на него. А поскольку молодой человек этот не менее боялся быть пойманным, чем я желала его поймать, то борьба наша обещала стать борьбой на равных — вот только Мартин

Фрейзер ничего не смыслил в женских уловках. Я вспомнила, что каштановые локоны обрамляют мое лицо прелестными прядями, а темно-голубые глаза считаются на диво выразительными — и смело встретила его взгляд. Однако он обратился ко мне с серьезной рассеянностью и вежливым безразличием, не позволявшим ему обратить внимание на мои чары, и я с дрожью вспомнила, что мои познания в астрономии ограничиваются обрывочными сведениями, почерпнутыми в школе в «Вопроснике Мэнгналла».

Суровый отшельник сей произнес:

— Мой отец, мистер Фрейзер, почти не выходит из своей комнаты, но жаждет удостоиться вашего посещения. На меня же возложена честь показать вам в телескоп все, что вы захотите увидеть. Сейчас я настрою его, а вы не будете ли столь любезны тем временем побеседовать немного с моим отцом? Люси Фрейзер проводит вас.

Девочка поднялась и, снова крепко взяв меня за руку, отвела в кабинет старого джентльмена.

— Вы так похожи на вашу мать, дитя мое, — вздохнул он, вдоволь наглядевшись на меня, — и лицо, и глаза — ну ничего общего с вашей сестрой Барбарой. А почему вы получили столь необычное имя: Стелла?

— Отец назвал меня так в честь любимой беговой лошади, — ответила я, в первый раз честно объясняя происхождение своего имени.

— Вполне в его духе! — засмеялся старый джентльмен. — Я отлично помню эту лошадку. Я ведь знал вашего отца не хуже, чем знаю своего сына, Мартина. А вы уже видели моего сына, барышня? Ну да, разумеется. А это моя внучка, Люси Фрейзер, последний обломок древнего здания, ведь сын мой не женат, вот мы и удочерили ее и признали нашей наследницей. Она навсегда сохранит свое девичье имя и станет родоначальницей новой ветви Фрейзеров.

Дитя стояло, меланхолически потупив взор, точно поникнув под гнетом возложенных на нее забот и ответственности. Старый джентльмен продолжал занимать меня непринужденной беседой, пока по дому не разнесся звучный голос органа.

— Дядя готов принять нас, — пояснила мне девочка.

У двери библиотеки я легонько придержала Люси Фрейзер за плечо и мы чуть помедлили, слушая дивную и вольную песнь органа. Никогда прежде мне не доводилось слышать ничего подобного: средь бурного, вздымающегося рокота, подобного непрестанному гулу могучих морских валов, время от времени раздавались какие-то жалобные, высокие ноты, пронзавшие меня невыразимой тоской.

И когда музыка смолкла, я предстала перед Мартином Фрейзером молчаливая и подавленная.

Телескоп был установлен на дальнем конце террасы, так, чтобы дом не загораживал нам вид на небо, туда-то и провел нас с Люси астроном. Мы оказались на самой высокой точке незаметно повышающегося плоскогорья, откуда было видно окрестности на двадцать-сорок миль окрест. Над нами раскинулся бескрайний купол небес, безбрежный океан, о котором живущие средь домов и гор имеют лишь смутное представление. Гроздья мерцающих звезд, темная, непроглядная ночь и незнакомые голоса моих спутников усугубляли охвативший меня благоговейный трепет, и, стоя между ними, я посерьезнела и столь же углубилась в себя, как и они. Я напрочь позабыла обо всем, кроме необъятного величия открывшейся мне вселенной и божественного парада планет в поле зрения телескопа. Какой благодатный восторг и восхищение снизошли на меня! Какие потоки мыслей волна за волной омывали мой разум! И какой же незначительной казалась я себе пред этой бескрайностью миров!

Потом я спросила — спросила с детской робостью, ибо все притворство покинуло меня — нельзя ли мне будет прийти еще разок?

Мистер Фрейзер зорко и проницательно поглядел в мои вскинутые с мольбою глаза. Я думала лишь о звездах и потому не дрогнула под его взором. И вот его твердо сжатые губы расплылись в радостной и чистосердечной улыбке.

— Мы всегда будем рады видеть вас, — ответил он.

Барбара сидела дома, поджидая меня, и уже собралась обратиться ко мне с каким-то мирским, суетным замечанием, но я поспешно перебила ее.

— Ни слова, Барбара, ни единого вопроса, а не то я больше никогда не приближусь к «Остролистам».

«Остролисты» — так называлась усадьба Фрейзеров.

Не стану вдаваться в подробности. Я сделалась частой гостьей в усадьбе.

Мне думается, что я ворвалась в тусклую размеренную жизнь обоих Фрейзеров и маленькой Люси, точно луч света, пробившийся сквозь нависшие над ними тучи. Я принесла им радость и веселье и потому очень скоро стала дорога и необходима всем троим. Но что до меня самой, то во мне произошли величайшие и почти невероятные изменения. Раньше я была кокетливой, самолюбивой и бездушной девчонкой, но торжественные и серьезные занятия, увлекшие меня поначалу, и новые, сменившие их, пробудили меня от духовной пустоты к полнокровной духовной жизни. Я начисто забыла о былых планах, ибо в первое же мгновение поняла, что

Мартин Фрейзер далек от меня и холоден, словно Полярная Звезда. Я стала для него всего лишь старательной и ненасытной до знаний ученицей, а он мне — только суровым и требовательным учителем, вызывающим лишь самое глубокое почтение. Каждый раз, как я пересекала порог его тихого дома, вся суетность и легкомысленность моей натуры слетали с моей души, точно ненужная шелуха, и я входила в старинный особняк, как в храм — преисполнившись простоты и смирения.

Так пролетело счастливое лето, подкралась осень, и за все восемь месяцев, на протяжении которых я постоянно посещала Фрейзеров, я ни словом, ни взглядом, ни тоном ни разу не солгала им.

Мы с Люси Фрейзер уже давно предвкушали лунное затмение, которое должно было произойти в начале октября. Вечером долгожданного дня, едва пали сумерки, я в одиночестве вышла из дома, размышляя о предстоящей радости наблюдения, как вдруг, приближаясь к «Остролистам», повстречала одного из тех молодых людей, с которыми я некогда флиртовала.

— Добрый вечер, Стелла, — фамильярно воскликнул он. — Давненько тебя не видел. А! Ты, должно быть, охотишься на новую дичь, но не слишком ли высоко метишь на сей раз? Что ж, тебе опять повезло — если с Мартином Фрейзером вдруг ничего не выйдет, то у тебя всегда в запасе есть Джордж Йорк. Он как раз вернулся из Австралии с недурным состояньицем и сгорает от желания напомнить тебе кое-какие из тех нежностей, которыми вы обменивались до его отъезда. Вчера после обеда в «Короне» он показывал нам твой локон.

Я выслушала эту речь с внешним спокойствием, однако меня глодало сознание собственного падения, и, поспешив укрыться в своем святилище, я отыскала мою маленькую Люси Фрейзер.

— Сегодня я поступила дурно, — сообщила она мне. — Я солгала. Наверное, мне следует сказать это вам, чтобы вы не считали меня совсем хорошей, но только мне все равно хочется, чтобы вы любили меня, как прежде. Я солгала не на словах, а делом.

Опершись головкой о тоненькие руки, Люси прикрыла глаза, молча погрузившись в себя.

— Дядя говорит, — продолжила она, на мгновение поднимая взгляд и краснея, точно взрослая девушка, — что женщины, наверное, не такие правдивые, как мужчины. Они не могут ничего сделать силой, вот и добиваются своего изворотливостью. Они живут нечестно. Они обманывают сами себя. А иногда обманывают просто ради забавы. Он научил меня одному стихотворению. Пока я его не очень-то понимаю, но

пойму когда-нибудь потом:

… С собою будь честна,
И неизбежно, как за ночью день,
Мужчинам лгать уже не сможешь ты.

Я стояла перед девочкой, смущенная и безгласная, слушая ее с пылающими щеками.

— Дедушка показал мне стих из Библии, который мне неясен. Слушайте: «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы; добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею».

Я спрятала лицо в ладонях, хотя никто на меня не глядел — Люси Фрейзер прикрыла глаза трепещущими веками. И так я стояла, презирая и осуждая сама себя, пока на плечо мне не легла чья-то рука и голос Мартина Фрейзера не произнес:

— Затмение, Стелла!

Я вздрогнула — впервые он назвал меня по имени. Но в следующий миг оказалось, что Люси Фрейзер не сопровождает нас на террасу, и душа моя окончательно пришла в смятение. И когда Мартин Фрейзер склонился ко мне проверить, правильно ли наведен телескоп, я отшатнулась от него.

— Что это значит, Стелла? — воскликнул он, увидев, что я разразилась слезами. — Можно мне поговорить с вами, Стелла, пока есть еще время, пока вы не покинули нас? Привязалось ли ваше сердце к нам столь же сильно, как наши сердца привязались к вам — столь сильно, что мы не смеем и думать, каким пустым станет наш дом, когда вы уйдете из него? До встречи с вами мы не жили, не ведали, что такое жизнь. Вы — наша жизнь и наше исцеление. Я наблюдал за вами так, как прежде не изучал ни одну женщину — и не нашел в вас ни единого изъяна, о, моя жемчужина, бесценное мое сокровище, звезда моя. Доселе женщина и обман были связаны для меня неразрывно, но ваше невинное сердце — обитель самой истины. Я знаю, что в вашей прелестной головке до сих пор не мелькало подобной мысли и потому горячность моя вас пугает, но скажите откровенно — могли бы вы полюбить меня?

Он заключил меня в объятья, голова моя покоилась на его бешено бьющемся сердце. Исчезли, растаяли былая суровость и отстраненность, Мартин предлагал мне немеркнущее богатство любви, не растраченной на мимолетные увлечения. Успех мой был полным. С какой радостью я

осталась бы в его объятиях до тех пор, пока мое молчание не стало бы красноречивее любых слов! Но в памяти моей возникло лицо Барбары, а в ушах еще звенели слова Люси Фрейзер. Черная тень, вгрызавшаяся в самое сердце луны, казалось, остановила свой ход. Бездонное небо глядело на нас глазами торжественных звезд. Шорох листвы затих и душистый осенний ветерок на миг улегся; облако неподкупных свидетельств эхом вторило крику моей пробудившейся совести. Опечаленная, раздавленная стыдом, я отстранилась от Мартина.

— Мартин Фрейзер, — сказала я, — ваши слова заставляют меня открыть вам правду. Я — самая лживая из всех женщин, что вы только встречали. Я пришла сюда с одной-единственной твердой целью — очаровать вас, и доведись вам хоть однажды попасть в круг моих знакомых, вы услышали бы обо мне лишь как о бессердечной и легкомысленной кокетке. Я не смею принести свою ложь к вашему очагу и отравить ваше сердце смертельной горечью. Не говорите же со мной сейчас, наберитесь терпения — я сама напишу вам!

Он хотел удержать меня, но я отшатнулась и, стремглав помчавшись по аллее, покинула свой Эдем, унося в сердце вечный позор. Затмение вошло в полную силу, и, объятая страхом перед темнотой и душевным смятением, вся дрожа и всхлипывая, я остановилась под шелестящими тополями.

Мне хотелось лишь одного — поскорей укрыться в своей комнате, но по пути я повстречала Барбару.

— Что с тобой стряслось? — спросила она, устремив на меня вопросительный взгляд холодных глаз:

— Ничего, — ответила я. — Просто надоела астрономия. Я больше не пойду в «Остролисты». Все равно никакого толка.

— А я что говорила, — отозвалась она. — И все же, чтобы довести дело до развязки, пошлю-ка я, пожалуй, мистеру Фрейзеру записку, что мы уезжаем под Рождество. Так значит, ты поняла наконец, что это все пустая трата времени?

— Еще как поняла, — пробормотала я и пошла в свою комнату, чтобы на протяжении долгих мучительных часов этой ночи на собственном горьком опыте познать, что значат отчаяние и безнадежность.

Назавтра я послала Мартину Фрейзеру письмо, где в каждом слове звучала святая истина, кроме того лишь, что, обманывая саму себя и даже в глубинах полнейшего самоуничижения цепляясь за остатки ложной гордости, я сообщила ему, что не люблю и никогда не любила его.

Первым, на чем останавливался мой взгляд каждое безрадостное утро,

были высокие тополя, качающиеся вокруг его дома и без устали машущие мне ветвями, словно приглашая зайти. А последним, что видела я вечером, был ровный свет в окошке его библиотеки, сияющий сквозь деревья, точно звезда, одетая лавровым венцом. Но я знала, что самого его я более никогда не увижу, ибо письмо мое было слишком недвусмысленным, чтобы питать еще какую бы то ни было надежду, а попытаться словно бы невзначай встретить его на прогулке мне помешал бы стыд. Все, что мне оставалось — это вернуться к прежней жизни, если только моя измученная и алчущая душа могла обрести утешение среди той шелухи, что прежде составляла смысл моей жизни.

Джордж Йорк снова принялся ухаживать за мной, предлагая мне богатство превыше самых честолюбивых наших ожиданий. Это было тяжкое искушение, ведь предо мной простиралась монотонная и постылая жизнь вдвоем с Барбарой и одинокая старость. Так почему я не могла жить, как тысячи женщин, вовсе не таких уж несчастных в браке? Но на память мне пришли строки из одной из книг Мартина: «Отнюдь не всегда долг наш состоит в том, чтобы вступить в брак, но он всегда в том, чтобы жить согласно истине и не гнаться за призрачным счастьем ценою чести, не спасаться от безбрачия ложью», — засим я укрепилась духом, приготовившись не дрогнув встретить унылый и безрадостный удел, и отвергла предложение.

Барбара пришла в совершенную ярость, и жизнь наша сделалась воистину невыносимой, пока она не приняла приглашение провести Рождество у одной из ее сестер, а я тем временем осталась дома со своей старой нянюшкой приглядеть за вывозом мебели. Мне не хотелось покидать наше старое жилище до последней минуты, и я рада была встретить день Рождества одна в опустелом доме, чтобы здесь, в одиночестве, мысленно собрать воедино все связанные с ним воспоминания пред тем, как уехать в неведомые края. И вот рождественским вечером я рассеянно бродила по пустым комнатам — пустым, но не более заброшенным, чем мое сердце, из которого были с корнем вырваны все старые воспоминания и новая, но самая глубокая привязанность — пока машинально не остановилась перед окном, откуда часто глядела на «Остролисты».

День был облачен и пасмурен, густо падал снег, но к вечеру буря миновала и на безлунных небесах ярко засияли звезды. Свежевыпавший снег искрился отблесками небесных огней, на фоне неба отчетливо выделялась черная громада — дом Мартина Фрейзера. Спальня его вот уже много ночей кряду оставалась темна, но окно старого мистера Фрейзера,

расположенное ближе к нашему дому, струило на заснеженную лужайку потоки ослепительного света. Устав от непосильных дневных трудов и изматывающих душу переживаний, я склонилась к окну, припав разгоряченными щеками к морозным стеклам и повторяя про себя все подробности моего знакомства с Фрейзерами. Перед моим мысленным взором проносились картина за картиной, видение за видением — мечты о счастье, которое могло бы стать моим.

Я стояла перед окном, крепко прижимая к глазам руки, по котрым катились слезы, когда в комнату, чтобы закрыть ставни, вошла няня. Заметив меня, она нервно вздрогнула.

— Мне померещилось, будто я увидела твою мать! — воскликнула она. — Сотни раз видела, как она вот так же стоит у этого самого окошка.

— Сьюзен, а как вышло, что моя мать не вышла замуж за мистера Фрейзера?

— Да как со всеми бывает — они друг друга не поняли, даром что любили друг друга до безумия, — ответила она. — Мистер Фрейзер первый раз женился ради денег, и брак был не из счастливых, так что он сделался изрядно угрюм и нелюдим. Они поссорились, и твоя мать назло ему объявила, что выходит за мистера Греттона, твоего отца! Ну вот! Мистер Фрейзер в одну ночь превратился в глубокого старика и с тех пор, пожалуй, ни разу покидал дом, так что она больше никогда так его и не видела, хотя он жил совсем рядом — но я-то частенько подмечала, когда твой отец был где-нибудь на балу, или на скачках, или на вечеринке с друзьями, как она стоит тут, точь-в-точь, как ты сейчас. Только последний раз на руках у нее была ты — я принесла тебя для поцелуя на сон грядущий, а она склонилась к окну и прошептала тихонько, глядя на Небеса: «Бог свидетель, я честно пыталась исполнить свой долг перед мужем и моей крошкой!»

— Нянюшка, — попросила я, — оставь меня одну, не закрывай еще ставни.

Никакому самолюбию и жалости к себе не оставалось более места в моем сердце. Как часто твердила я себе, что нет на земле скорби, подобной моей, но ошибка моей матери была куда страшнее, и испытание ее — суровее, чем мое. Тяжкий крест, который она сама на себя взвалила, обрек ее на раннюю могилу, но не ушел в землю вслед за ней — этот крест, ставший после ее смерти во много раз тяжелее, покоился теперь на сердце старика, который, без сомнения, долгие часы размышлял о событиях своей ушедшей жизни и более всего — об этом, ибо оно было печальнее прочих. Как же хотелось мне еще раз увидеться с ним — увидеть того, кто

оплакивал гибель моей матери сильнее и дольше всех! И вот я решила тайком прокрасться через поля, по аллее и, если окно мистера Фрейзера не занавешено (как можно было предположить по струящемуся из него яркому свету), еще раз взглянуть на него в память о моей матери.

На крыльце я помедлила, словно мы обе — и моя мать, и я — стояли на пороге какой-то сомнительной авантюры, но, с присущим мне упрямством, отмела все колебания и устремилась в морозную ночь.

Да, окно было не занавешено — я разглядела это еще у ворот аллеи. Скоро я увижу его, того, кого любила моя мать, увижу, как в безрадостном одиночестве лежит он на кушетке, где провел все эти утомительные годы, пока Люси Фрейзер не подросла настолько, что смогла заменить ему дочь. И тут я вспомнила слухи, что с грустью поведала мне Сьюзен пару часов назад: будто внучка старика умирает; и с растущей тревогой я мчалась все дальше, покуда не очутилась под окном.

Однако эта комната не была более комнатой тяжелобольного — кушетка исчезла из нее, равно как и экран перед камином, зато появилось маленькое креслице Люси Фрейзер. Не осталось там и приз* каков современного удобства или же роскоши — ни уюта, ни ярких красок, ни пышности: теперь это была просто библиотека и рабочий кабинет погруженного в занятия студента, что забывает о комфорте и пренебрегает им. Однако какой бы она ни была, сердце мое мгновенно узнало в ней родной дом — ибо там сидел Мартин, по своему обыкновению, с головой уйдя в какие-то вычисления и время от времени заглядывая в разложенные повсюду кругом книги.

Возможно ли, что этот самоуглубленный человек совсем недавно еще столь пылко твердил мне о своей любви, а теперь, равнодушный и безучастный, сидит перед огнем в тепле и уюте, так близко, что я могла бы коснуться его рукой — а я, точно бездомная бродяжка, стою в темноте, на морозе, в полном отчаянии? Неужели эхо моих шагов уже не трепещет на его пороге, а призрак моего лица не встает между ним и его вычислениями? Я утратила право сидеть возле него, читая заметки, сделанные его рукой, и разгоняя угрюмость, грозившую овладеть его натурой — и у меня даже не оставалось надежды (а для меня это было бы поистине надеждой и утешением), что какая-нибудь другая женщина, правдивее и достойнее меня, сможет обрести утраченные мною права.

Тут раздалось слабое позвякиванье колокольчика. Мартин поднялся и покинул комнату. Я гадала, успею ли прокрасться внутрь и взять на память всего лишь один-единственный клочок бумаги, который он небрежно откинул в сторону; но едва я трепещущей рукой взялась за ручку

стеклянной двери, он вернулся, неся на руках худенькую фигурку крошки Люси Фрейзер. Бережно укутав девочку в широкий плащ, он усадил ее в кресло и подкатил поближе к огню. Суровые черты его лица смягчились в нежной улыбке. Страстно желая вновь оказаться рядом с этим благородным сердцем и заставить холод и мрак отступить, я протянула к нему руки, а потом повернулась и побрела прочь, в мой разоренный дом, унося в памяти это последнее нежное воспоминание.

Внезапно в плюще у меня над головой что-то зашелестело И крохотная птичка, вылетев из гнезда в морозную ночь, ударилась об освещенные стекла окна. В то же мгновение пес Мартина, и без того уже взбудораженный, потому что он-то давным-давно учуял меня, с лаем вскочил на окошко, и я только успела спрятаться в кустах, как Мартин отворил дверь и вышел на террасу. Пес с радостным тявканьем помчался по моим следам, Мартин озирался по сторонам, а я пыталась забиться в самую глубокую тень. Я знала, что он неизбежно найдет меня — на свежевыпавшем снегу так ясно виднелись отпечатки моих шагов — и меня захлестнула отчаянная волна стыда и вместе с тем неудержимой радости. Я видела, как Мартин раз или два сбивался со следа, но потом все же вышел на верный путь и, приподняв ветви, под которыми я пряталась, нашел меня среди лавра. Я сжалась в комочек, и он недоуменно нагнулся ко мне.

— Это Стелла, — еле пролепетала я.

— Стелла? — эхом отозвался он.

Он подхватил меня на руки, точно заблудившегося ребенка, которому давно следовало вернуться домой, отнес меня через террасу в библиотеку и усадил в кресло перед пылающим камином. Один легкий поцелуй девочке, чьи устремленные на нас глаза зажглись странным светом — и вот он уже схватил обе мои руки в свои, жадно вглядываясь мне в лицо. Я встретила этот взгляд не дрогнув — глаза в глаза. Долгим, неустанным взором мы изучали глубины сердец друг друга. Меж нами более не было места сомнениям или недоверию, обману и недомолвкам.

Звезда наша поднялась и засияла высоко в небесах, струя немеркнущий свет на грядущие годы. Где-то вдали зазвучал колокольный звон, отдаваясь в наших душах, точно пенье свадебных колоколов. Звук этот вывел нас из нашего блаженного забытья.

— Я уже думал, что потерял тебя, — сказал Мартин. — Я все ждал, все верил, что ты придешь, но сегодня вечером мне сообщили, что ты уехала, и я даже сказал об этом Люси. Она умирала от желания видеть тебя.

С этими словами он передал мне девочку, и она прижалась ко мне, с усталым вздохом склонив головку мне на грудь. Минуту спустя мы

услышали, как к дому подходят певчие, и Мартин поспешил опустить занавеску, прежде чем они успели выстроиться перед домом и начать гимн о чудесной звезде на Востоке.

Когда они окончили песнь и прокричали неизменное: «Веселого Рождества и счастливого Нового Года вашему дому», Мартин вышел на крыльцо поговорить с ними, а я спрятала лицо в кудряшках девочки, вознося хвалы Господу, который так изменил меня.

— Но что с ней, Мартин? — в ужасе вскричала я, поднимая голову, когда он вошел обратно.

Печальные веки девочки сомкнулись, маленькие ручки безжизненно повисли. Бесчувственная и бездыханная, лежала она в моих объятиях, точно увядший цветок.

— Это всего лишь обморок, — пояснил Мартин. — Она так ослабела с тех пор, как ты покинула нас, Стелла, и единственная моя надежда на ее выздоровление кроется в твоих неусыпных попечениях.

Всю ночь я просидела, баюкая дитя на груди — малютка очнулась от своего обморока, более похожего на смерть, и теперь спокойно спала у меня на руках, ибо начала уже черпать жизнь, радость и счастье из моего сердца. Стояла глубокая тишина, и спокойствие окутало нас благословенным оазисом, прерванное лишь появлением моей нянюшки, которую Мартин нашел в состоянии полнейшей тревоги и паники.

Занялось утро счастливого Рождества. Я попросила няню причесать мне волосы так, как причесывала их моя мать. И когда мистер Фрейзер, несколько часов проговорив с Сьюзен, принял меня как родную дочь, с величайшей нежностью и радостью, но чаше называл меня Марией, а не Стеллой — я радовалась, что смогла напомнить ему ее. А вечером, когда я сидела в кругу близких мне людей, на меня напала вдруг такая дрожь и так начали душить слезы, что унять их могли только самые нежные заботы моей новой семьи. А потом я пела им старинные песни, вся прелесть которых заключается лишь в незатейливых мелодиях, а мистер Фрейзер легко и свободно говорил о минувших временах и о том времени, которому лишь суждено еще прийти, а глаза Люси почти смеялись.

Потом Мартин отвел меня домой по тропе, где столько раз я ходила одна, не испытывая ни малейшего страха; но теперь полнота моего счастья сделала меня робкой, и при каждом необычном шорохе я все ближе прижималась к нему с блаженным чувством, что меня есть кому защитить.

И вот, солнечным весенним днем, с ликующей Люси и торжествующей победоносной Барбарой в роли подружек невесты, я робко и радостно приняла счастливый жребий стать женой Мартина Фрейзера. И с тех пор,

всегда памятуя о пустоголовой глупости моего девичества, я неизменно старалась стать лучше и исполнять свой долг с еще большими любовью, благодарностью и самозабвением. Но Мартин еще долго притворялся, будто не верит, что той ночью я прокралась в их усадьбу, чтобы бросить последний взгляд не на него, а на его отца — я ведь не знала, что спальня мистера Фрейзера стала теперь библиотекой его сына».

Призрак двойной комнаты

Настала очередь новому Призраку из моего списка. Я записал комнаты в том порядке, в каком их вытягивали при жеребьевке, и этого-то порядка мы теперь и придерживались. Засим я воззвал к призраку Двойной Комнаты, заклиная его явиться как можно быстрей, потому что все мы заметили, как взволнована жена Джона Хершела, и оттого, точно по молчаливому уговору, избегали глядеть друг на друга. Альфред Старлинг с никогда не изменяющим ему чувством такта поспешил откликнуться на мой зов и объявил, что Двойную Комнату посещал Дух Лихорадки.

— Что еще за Дух Лихорадки? — спросили все со смехом. — На что он похож?

— На что похож? — переспросил Альфред. — Да на Лихорадку.

— А на что похожа Лихорадка? — поинтересовался кто-то.

— А вы не знаете? — удивился Альфред. — Что ж, попытаюсь вам объяснить.

Мы оба — Тилли (этим нежным уменьшительным именем я назову мою обожаемую Матильду) и ваш покорный слуга — единодушно считали, что дольше ждать было бы не только нецелесообразно, но даже и полностью противно нашему долгу перед обществом. Лично я мог бы привести сотню аргументов против гибельных последствий затяжных помолвок, а Тилли начала уже цитировать стихи самого что ни на есть зловещего склада. Однако наши родители и опекуны придерживались совершенно иного мнения. Мой дядя Бонсор хотел, чтобы мы дождались, пока акции Карлион-у-Черта-На-Куличках или Еще Чего-То-Там, в которых я был кровным образом заинтересован, начнут подниматься — вот уже много лет, как они только и делали, что падали и падали. Папа и мама Тилли считали ее совсем еще девочкой, а меня совсем еще мальчишкой, хотя мы были не какими-то там юнцами, а самой пылкой и верной парой юных влюбленных, что только существовала на земле со времен Абеляра и Элоизы или Флорио и Бьянкафиоре.[2] Но поскольку, на наше счастье, наши родители и опекуны были сделаны не из кремня или романцемента, нам не пришлось внести еще одну пару в исторический перечень несчастных влюбленных. Дядя Бонсор и мистер и миссис Стэндфаст (папа и мама моей Тилли) наконец сжалились. Достижению желаемого эффекта немало способствовало написанное мной сочинение на восьми листах самого большого формата, направленное против безбрачия, с коего я снял три

копии в подарок нашим жестокосердым родичам. Еще больше успеха возымели Тиллины угрозы отравиться. Однако решающую роль сыграло то, что мы с Тилли объединили усилия и сообщили родителям и опекунам, что ежели они не согласятся с нашими видами на будущее, мы все равно убежим и поженимся при первой же возможности. Помимо родительской воли, ничто не препятствовало нашему браку. Мы были молоды, здоровы и оба имели кучу денег. Просто уйму денег — так мы тогда считали. Что же до нашей внешности — то Тилли была воплощенная Прелесть, а о моих усиках в высших слоях дуврского общества еще никто не отзывался дурно. Итак, дело уладилось, и было решено, что двадцать седьмого декабря, тысяча восемьсот пятьдесят какого-то года, утром «дня подарков», Альфред Стерлинг, джентльмен, соединится священными узами брака с Матильдой, единственной дщерью капитана Роклейна Стэндфаста, Снаргестоунская вилла, Дувр.

Я остался сиротой в самом нежном возрасте, и опекуном моего скромного имущества (включая акции Карлиона-у-Черта-На-Куличках или Еще Чего-То-Там) равно как и личным моим опекуном стал мой дядя Бонсор. Он послал меня в «Мерчант-Тэйлорз»[3], а еще через пару лет в колледж в Бонне, на Рейне. Впоследствии — полагаю, дабы уберечь меня от греха — он заплатил кругленькую

сумму за мое зачисление в бухгалтерию фирмы господ Баума, Бромма и Бумписса, немецких купцов, под чьим крылышком я всласть побездельничал в соответствующем департаменте к немалой зависти моих собратьев, клерков на жалованье. Дядя Бонсор же обитал, по большей части, в Дувре, где наживал огромные капиталы по правительственным контрактам, суть которых, по всей видимости, состояла в том, чтобы сперва делать дыры в известняке, а потом засыпать их сызнова. Дядя был, пожалуй, одним из самых уважаемых людей в Европе и его хорошо знали в лондонском Сити под прозвищем «Ответственный Бонсор». Он принадлежал к разряду достойных доверия людей, про которых обычно говорят, что у них денег куры не клюют. Зимой и летом он носил жилет — жилет, оттенок которого колебался где-то между солнечно-желтым и тускло-коричневым, и который выглядел столь неоспоримо респектабельным, что я уверен, предъяви он его в любом банке на Ломбард-стрит, клерки немедля обменяли бы его на любое запрошенное количество ассигнаций или же чистого золота. Окопавшись за этим сногсшибательным одеянием, точно в крепости, дядя Бонсор палил в вас из пушек своей добропорядочности. Жилет выносил резолюции, смягчал гнев возмущенных вкладчиков, придавал стабильности шатким предприятиям и

вносил немалые пожертвования на нужды пострадавших от засухи кафров и неимущих туземцев с острова Фиджи. Словом, это был солидный жилет, а дядя Бонсор был солидным дельцом. Он числился во множестве компаний, но всякий раз, как учредитель или патрон приходили к нему с планом, мой ответственный дядюшка немедля проводил краткое совещание со своим жилетом и через пять минут либо выпроваживал клиента из своей бухгалтерии либо подписывался на тысячу фунтов.

Было условлено, что я приеду в Дувр вечером в канун Рождества, остановлюсь у дяди, и мы вместе пообедаем у капитана Стэндфаста на Рождество. «День подарков» решено было посвятить примерке шляпок (со стороны моей возлюбленной) и подписыванию и подтверждению актов, соглашений, договоров и прочих документов, связанных с законностью и финансами (с моей стороны, а также стороны моего дяди и будущего тестя), а двадцать седьмого мы должны были *пожениться*.

Конечно же, по такому случаю мои отношения с господами Баумом, Броммом и Бумписсом были приведены к приятному для обеих сторон завершению. Я задал клеркам грандиозное пиршество в гостинице на Ньюгейт-стрит, и имел удовольствие в довольно поздний час и по крайней мере двадцать восемь раз кряду выслушать единодушное заявление (пожалуй, слегка неразборчивое из-за сопровождавшей его икоты), что я «веселый славный парень, об этом знают все». Кроме того мне пришлось отложить отбытие в Дувр аж на восьмичасовой почтовый экспресс в вечер перед Рождеством ради прощального обеда в четыре часа в чертогах мистера Макса Бумписа, младшего партнера в фирме, в чьи обязанности входило давать званые обеды. Обед, правда, оказался весьма основательным и очень же веселым. Оставив джентльменов за вином, я еле-еле успел плюхнуться в кеб и нагнать поезд на Лондон-Бридж.[4]

Сами знаете, как быстро летит время в поездке, если перед отправлением вы плотно пообедали. Меня словно бы передали в Дувр телеграммой — так мгновенно промелькнули эти странноватые восемьдесят миль. Однако теперь повествование подошло к тому месту, где долг обязывает меня уведомить вас о моем Ужасном Злосчастье. Еще в юности, маленьким мальчиком в приготовительной школе близ Ашфорда, я испытал на себе прикосновение зловещей заразы Кентских Болот. Не могу судить, как долго эта лихорадка таилась в моем организме и благодаря какому случаю проснулась вновь, но к тому времени, как поезд добрался до Дувра, я находился уже в когтях злобной малярии.

Это была отвратительная, неуемная, постоянная дрожь, лихоманка, адская трясучка, жестокая свистопляска, сопровождаемая — скажу без

обмана — жаром и лихорадкой, ибо в висках у меня стучало, а голова словно раскалывалась от резкого и оглушительного шума. Кровь так и кипела в венах, бросаясь то в голову, то в ноги, а несчастное, истомленное недугом тело беспомощно покачивалось из стороны в сторону. Я вышел на платформу, но пошатнулся, и мне показалось, будто первый же носильщик, за чью руку я ухватился в жажде обрести равновесие, служил лишь передатчиком той свирепой дрожи, что владела мной. Я всегда был весьма умеренным молодым человеком и отнюдь не переусердствовал в поглощении редкостного старого рейнвейна, коим гостеприимно потчевал нас младший партнер, и посему, несмотря на чертовский шум в голове, не утратил способности связно думать и говорить — хотя зубы мои стучали, а язык заплетался в мучительных судорогах. Никогда раньше я почему-то не замечал, какое, оказывается, жестокосердное племя эти железнодорожные носильщики, но один из них, рослый парень в бархатной куртке, помогая мне забраться в коляску, ухмыльнулся самым нахальным образом, а напарник его, низенький толстячок с косыми глазками, оттопырил щеку языком и, к великой моей отраде, навалив на меня груду одеял и пледов, велел кучеру ехать к Морской Площади, где обитал мой дядя. (До этого я успел уже поведать всему вокзалу о моей малярии).

— Ну и нагрузился же он, — воскликнул нам вслед рослый парень. От души надеюсь, он имел в виду лишь то, что в коляску загрузили весь мой багаж.

Дорога до дяди заняла пять кошмарных минут. Скрученный очередным припадком, я не в силах был двинуть ни единым мускулом и лишь безвольно болтался из стороны в сторону, стукаясь головой о стенки кеба с такой силой, что просто диву даюсь, как это ухитрился не вышибить оконное стекло. Шум в ушах не унимался. Наконец коляска остановилась и, кое-как вывалившись на мостовую, я неверною рукою нашарил дверной молоток и выбил на двери такую раскатистую и замысловатую дробь — предварительно разбросав по мостовой причитающуюся извозчику мелочь в тщетной попытке вложить ее ему в руку — что Джейкс, дядин камердинер, отворивший мне дверь, уставился на меня в немом изумлении.

— Мне очень плохо, Джейкс, — пролепетал я, вваливаясь в прихожую. — Опять эта чертова малярия.

— Да, сэр, — ответил Джейкс, в свою очередь сдерживая что-то, подозрительно похожее на ухмылку. — Такое уж время года. Быть может, вам лучше отправиться в постель, сэр?

Но стояли святки, дом был залит светом, и я прекрасно знал, что моя Тилли и все семейство Стэндфастов находятся сейчас наверху в обществе

моего дядюшки и его неподражаемого жилета. И как бы сильно болен я ни был, но все ж сгорал от нетерпения увидеть мою драгоценную.

— Нет, Джейкс, — возразил я. — Я соберусь с силами и поднимусь наверх. Лучше принеси-ка мне в столовую капельку коньяку и кипятка. Это пойдет мне на пользу и, быть может, приступ наконец прекратится.

И как вы думаете, каков был ответ этого вышколенного домочадца?

— Не стоит, сэр, — имел он наглость сказать. — Все ж таки Рождество, сэр. Сейчас многие этим страдают. Идите-ка спать, сэр. Подумайте, что будет с вашей бедной головой завтра утром.

— Милейший, — начал было я, все еще трясясь от озноба, как вдруг увидел, что на лестнице показался дядя Бонсор во главе небольшой группки дам и джентльменов. Дрожь мешала мне разглядеть их хорошенько, но я все же заметил, что среди них виднелись и золотые кудряшки моей обожаемой Тилли. Однако сейчас на личике ее читались испуг и смятение.

— Альфред, — сурово провозгласил дядя из глубин жилета, — стыдитесь. Немедленно отправляйтесь в постель, сэр!

— Дядя! — возопил я в отчаянной попытке стоять ровно, — неужели вы думаете, что я…

Тут я попытался было подняться по ступеням, но ноги мои зацепились то ли за складку ковра, то ли за удерживавшие ковер медные полосы, и, не успев договорить, я кубарем скатился вниз. Но даже лежа на полу безгласною грудой, я дрожал от лихорадки стократ сильнее, чем прежде. Я услышал повелительный голос дяди, распоряжавшийся, чтобы меня унесли — и меня унесли. Джейкс на пару с долговязым лакеем оттащили мое трепещущее тело в спальню.

Ночь была короткой и мучительной, точно в бреду, и я лежал, трясясь и дрожа в пылающей постели. Утром же дядя передал мне, что вся моя болезнь — сплошная ерунда и что меня ждут к завтраку.

Я спустился вниз, настроенный самым решительным образом, но с дрожью во всем теле и держась за перила. О, унижения этого гнусного рождественского дня! Меня встретили шутками и советами выпить крепкого чая с чуточкой коньяка, но после завтрака дядя пожал мне руку, сказав, что, в конце концов, такое случается только раз в год, а «мальчишки всегда мальчишки». Все кругом желали мне счастливого Рождества, а я только и мог, что, заикаясь, бормотать ответные пожелания. Сразу же после завтрака я отправился прогуляться по пирсу, но едва не свалился в море и натыкался на столбы столь часто, что какой-то моряк в желтой зюйдвестке отвел меня домой и выманил у меня пять шиллингов под предлогом, что

хочет выпить за мое здоровье. Затем мне предстояло еще более тяжкое испытание — визит на Снаргатестоунскую виллу, дабы сопровождать мою Тилли и все ее семейство в церковь. К великому моему облегчению, хотя я и дрожал от макушки до пят, но никто не обращал на мое печальное состояние никакого внимания. Я начал уже надеяться, что приступ пройдет, и все обойдется, но надежды мои не оправдались — приступ не только не улегся, но скорее возрос и стал еще ужаснее. Моя дорогая девочка погладила меня по голове и выразила надежду, что «теперь я стану хорошим мальчиком», но когда я срывающимся голосом сослался на малярию, лишь засмеялась в ответ. Мы направились в церковь, и там моя лихорадка очень скоро вновь ввергла меня в немилость. Сперва я вызвал чудовищный скандал, налетев на старуху-нищенку и едва не сбив с ног сторожа. Потом скинул с кафедры расписание церковных служб и несколько сборников псалмов. Затем выбил подушечку для коленопреклонения из-под самых ног моей будущей тещи. Следом отдавил — ей-ей, нечаянно — пальцы Мэри Ситон, прехорошенькой кузины моей Тилли, отчего она вскрикнула, а моя возлюбленная поглядела на меня отнюдь не ласково; и наконец, в виде достойного завершения, в припадке необычайно свирепой дрожи я распахнул церковную дверь настежь и вновь налетел на скамью, с которой мне весьма суровым тоном и ссылаясь при том на церковного старосту велели либо угомониться, либо покинуть церковь. Поняв, что бороться с недугом мне не под силу, я и в самом деле покинул ее, но даже стремглав выбегая из-под величественных сводов, явственно видел, как священник мерно колышется пред алтарем, а за ним качается туда-сюда причетник, а мемориальные доски так и ерзают на стенах и орган в галерее подпрыгивает то позади приютских мальчиков, то позади приютских девочек.

Виной тому не было головокружение, хотя при таких обстоятельствах, пожалуй, впору бы пойти кругом и самой крепкой голове. Нет, это была малярия в чистом виде, причем самого худшего сорта — меня сотрясала жестокая дрожь, а от жара в ушах бешено стучала кровь.

За обедом — страдания мои так и не прекратились, хотя никто не замечал их — я, образно выражаясь, снова сплоховал. Сперва, провожая к столу миссис Ван Планк из Сандвича — дядя Бонсор эскортировал мою Тилли — я умудрился запутаться в гроздьях стекляруса, коими эта богатая, но тучная дама была обвешана с головы до ног — и мы вместе рухнули ниц, причем с самыми плачевными последствиями. Громоздкая туша миссис Ван Планк тяжко придавила к полу беспрестанно трясущегося меня, а когда нам наконец помогли подняться, она была весьма недовольна

и умаслить ее было совершенно невозможно. Она не присоединилась к нам за обедом. Она приказала подать свой экипаж и вернулась в Сандвич. Едва карета с громыханием откатила от дома, капитан Стэндфаст, в прошлом подвизавшийся в военном флоте, поглядел на меня с таким свирепым видом, точно желал, чтобы меня немедля отвели на нижнюю палубу и всыпали мне шесть дюжин плетей, и сказал:

— Глядите, вон уезжает бриллиантовый браслет бедняжки Тилли. Старая карга теперь ни за что не подарит его ей. Я сам видел коробку на сиденье кареты.

И я был тому виной! Ужели я не мог справиться с злосчастной малярией?

За столом же я выступил еще хуже. А именно: пролил две полных ложки жирного черепахового супа на новую скатерть из камчатного полотна. А именно: опрокинул на голубое муаровое платье Мэри Ситон бокал мадеры. А именно: в судорожном припадке трясучки едва не проткнул серебряной вилкой лейтенанта Ламба из пятьдесят четвертого полка, расквартированного в Хайте; и наконец, в маниакальной попытке разрезать индейку, запустил всей тушкой этой рождественской птицы, обвешанной гирляндами сосисок, прямиком в ответственный жилет дяди Бонсора.

Мир каким-то образом был восстановлен — не знаю уж, как, но полчаса спустя все мы были в самом приятном расположении духа и за непринужденной беседой перешли к десерту. Употребляя слово «все», я, разумеется, исключаю из этого числа себя, несчастного. Что же до меня, то я по-прежнему не мог совладать с дрожью. Должно быть, кто-то провозгласил тост за мое здоровье. Встав для ответной речи, я трепещущим локтем заехал моему поздравителю в левый глаз, при этом потерял равновесие и, жаждя его обрести, выплеснул полный бокал кларета в расшитую батистовую грудь все того же многострадального лейтенанта Ламба и в полном отчаянии вцепился обеими руками в край стола и скатерти. Теперь-то я понимаю, как все произошло: предательское полированное дерево выскользнуло у меня из рук, я невзначай зацепился ногой за ножку стола — и тут сам стол, хрустальные графины и весь десерт со страшным треском взлетели в воздух. Нос лейтенанта Ламба изрядно пострадал от пары массивных серебряных щипцов для орехов, а чело дядюшки Бонсора на классический манер увенчалось живописными гроздьями орехов и винограда.

Унылое декабрьское солнце следующим утром поднялось, дабы осветить арену окончательной катастрофы. Насколько я могу собрать

воедино разрозненные воспоминания о той ужасной поре, мои вчерашние выходки против светских приличий были в очередной раз прощены и преданы забвению — не из снисхождения к моей болезни (в которую друзья мои и родственники все так же упорно не верили), а из того рассуждения, что такое, мол, «бывает только раз в году». Все утро по Снаргатестоунской вилле шныряли адвокаты, вдело было пущено несметное количество чернильниц, красной тесьмы, синих печатей, гербовой бумаги и пергамента, а дядя Бонсор выглядел еще ответственней, чем обычно. Наконец доверенные лица, усиленно перешептываясь между собой, принесли и мне на подпись какую-то бумагу. Я пытался протестовать, утверждая, что вижу пред собой лишь большое белое пятно, приплясывающее на фоне зеленой скатерти, и бумага, точно непоседливый краб, так и ерзает по столу, как ненормальная. Но делать было нечего. Собравшись с духом, я сосредоточился на невыполнимой задаче подписать документ, закусил губу, стиснул левую руку в кулак, попытался твердо водрузить шаткую голову на вялой шее, поджал пальцы в ботинках и задержал дыхание — но моя ли была в том вина, что когда я сжал-таки ручку и попытался начертать свое имя, злосчастное перо само собой принялось плясать, и скакать, и прыгать, и дергаться, и зарываться носом в бумагу? В отчаянии я схватился за чернильницу, чтобы поднести ее поближе к перу, но тут же расплескал все ее черное содержимое одной ужасной, отвратительной и гнусной кляксой, залив весь важный документ. Закончил же я свои преступления тем, что вылил остаток чернил на священный жилет дяди Бонсора и всадил перо прямо под третье ребро капитана Стэндфаста.

— Довольно! — вскричал мой тесть, хватая меня за воротник. — Покиньте этот дом, злодей!

Но я вырвался из его хватки и вбежал в гостиную, зная, что там ждет меня моя Тилли с подружками невесты.

— Тилли… Обожаемая моя Матильда! — вскричал я.

— Мне не требуется дальнейших объяснений, сэр, — неумолимо отрезала моя возлюбленная. — Я видела и слышала уже более чем достаточно. Альфред Старлинг, знайте же, что я скорее выйду замуж за последнего нищего, чем стану невестой пьяницы и распутника! Убирайтесь, сэр: скорбите, если посмеете, стыдитесь, если способны еще стыдиться. Отныне мы чужие друг другу. О раб своих пороков, прощайте навсегда!

И она выбежала из комнаты, и я услышал, как горько плачет ее нежное сердечко в будуаре по соседству.

Итак, я был с позором изгнан навсегда со Снаргатестоунской виллы; а дядя Бонсор каждой ниточкой своего жилета отрекся от меня и лишил меня наследства. Я добрался до станции, забился на сиденье в первом же поезде и отчаянно трясся всю дорогу до города. Сумерки того страшного «дня подарков» застали меня слоняющимся без дела близ трущоб Сохо.

От Сохо-сквер — кажется, от западной его стороны — ответвляется грязный, закопченный и пыльный переулок, называемый Бейтманз-билдинг. Я стоял (по-прежнему дрожа) на углу этого сомнительного места, когда столкнулся вдруг с неким джентльменом, который на семь восьмых выглядел военным, а на одну восьмую — штатским.

Это был маленький, вертлявый, стройный и моложавый старикашка с желтым лицом и седыми волосами, усами и бакенбардами. Надо сказать, в те времена усы были неотъемлемым признаком кавалерии. Одет он был в синий мундир, выцветший по швам добела, а на груди на обтрепанной ленте болталась серебряная медаль. Военную шляпу старикашки венчал пучок разноцветных лент, под мышкой он сжимал бамбуковую трость, а на каждом рукаве у него было по золотой, впрочем, изрядно потускневшей нашивке; алый воротник щеголял вышивкой с изображением золотого льва; на плечах же странный незнакомец носил крошечные золоченые эполеты, более всего напоминавшие две вставные позолоченные челюсти в витрине дантиста.

— Как поживаете, милейший? — сердечно осведомился военизированный джентльмен.

Я ответил ему, что несчастней меня не сыщешь на всем белом свете, на что военизированный джентльмен, похлопав меня по плечу и назвав своим храбрым товарищем, предложил мне в честь Рождества распить с ним пинту подогретого пива с пряностями и горячего джина.

— А вы, смотрю я, перекати-поле, — отметил мой новый знакомец. — Я и сам такой. Вам не случалось иметь брата-близнеца по имени Сиф, а?

— Нет, — уныло возразил я.

— Вы с ним как две капли воды, — продолжал военизированный джентльмен тем временем, взяв меня под руку и увлекая меня, всего трясущегося и дрожащего, к грязной таверне, над дверью которой висели две размалеванные картонки в рамках, под стеклом, изрядно засиженные мухами и изображавшие: первая — офицера в небесно-голубом мундире, излишне, пожалуй, разукрашенном серебром, и вторая — бомбадира с непомерно гигантским шомполом, который он собирался засунуть в пушку; все в целом же сопровождалось объявлением, извещающим, что молодые смекалистые парни куда как требуются в рядах пехоты, кавалерии, а также

артиллерии при Славной Ост-Индской Компании, и призывающим всех помянутых смекалистых молодых парней обращаться прямиком к старшине Чатни, которого всегда можно сыскать в баре «Бравого Горца» или же в конторе на Бейтманз-билдинг.

— Последний раз я видел его, — без умолку трещал желтолицый седоусый джентльмен, буквально заталкивая меня в «Бравого Горца», пригвождая меня, дрожащего и беспомощного, к стойке и заказывая пинту наилучшего пива, — когда он оставил службу у нас и заделался фельдмаршалом короля Ода. Сколько раз я сам видел, как он, бывало, едет,на белом слоне в треуголке и бриллиантовых эполетах, а вокруг бегут двадцать пять черномазых, отгоняя от него мух и поднося ему содовую. А уж какое бренди пил он с этой самой содовой! А все благодаря чему? Тому, что мы с ним совершенно случайно встретились вот на этом самом месте.

Бесполезно было бы затягивать долее описание беседы с этим военизированным джентльменом; довольно будет сказать, что не прошло и часа, как я принял роковой шиллинг и завербовался на службу в Славную Ост-Индскую Компанию. А ведь я не был нищим — у меня имелась собственность, к которой мой дядя Бонсор не имел ровным счетом никакого касательства. И уж тем более не совершал я никакого преступления — но так страдал от тоски и одиночества, что взял и завербовался. Удивительно другое — когда я предстал сперва перед магистратом, чтобы меня аттестовали, а потом перед хирургом, чтобы он доказал мою пригодность к строевой службе, малярия, казалось, полностью покинула меня. Я твердо стоял как на свидетельском месте, так и перед врачом, лишь жестоко страдая при мысли о том, в каком ложном свете было истолковано мое поведение купцами в Дувре.

Но едва я достиг военного лагеря в Брентвуде, как малярия вернулась ко мне с удвоенной силою. Сперва, удостоверившись, что у меня неплохой музыкальный слух, меня начали учить на горниста, но я не мог удержать в руке инструмент и, более того, повыбивал все горны из рук моих соседей. За эту провинность меня перевели в роту самых отстающих новобранцев, где сержанты постоянно били меня тростью, но я так и не сумел продвинуться дальше самых начальных упражнений в гусином шаге, и даже тогда двигался совершенно не в ногу со всей ротой. Лагерный хирург не удостоил мою лихорадку ни малейшим вниманием, и ротный старшина перед строем обозвал меня хитрым и нерадивым симулянтом. Среди сотоварищей, безжалостно презиравших меня, я получил прозвище «Юный Дрожун-Трясун». Но что самое странное, в мою бедную, больную и вконец расшатанную головушку ни разу не закралась даже тень мысли о том,

чтобы откупиться от службы.

Ума не приложу, как начальство все же решилось послать в Индию такое жалкое, трясущееся и никчемное существо, но оно все же отправило меня в длительное морское плавание на военном судне в обществе еще семи или восьми сотен рекрутов. Однако на Востоке моя военная карьера пришла к быстрому и бесславному завершению. Немедля по прибытии в Бомбей батальон европейского полка, к коему я был приписан, был послан в верховья реки Сатлех, где разгорелось восстание сикхов. Это были кампания Аливала и Сабраона, но вот и все, что увидел я своими глазами из славной эпохи, воспетой в наших военных анналах. Из презрительного снисхождения к моему нервному расстройству меня зачислили в караул при обозах, и вот как-то ночью, примерно на десятые сутки марша, на протяжении которых я непрестанно трясся, как осиновый листок, на наш арьергард было совершено нападение с целью грабежа. Нападала-то, стыдно сказать, лишь жалкая кучка гнусных проходимцев и воров, и не было ничего легче, чем загнать этих жалких злодеев к черту на куличики. Я же всегда, и в детстве, и в юности, отличался храбростью и объявляю во всеуслышание, что при подобных обстоятельствах ни в коем случае не обратился бы в бегство — но злосчастный недуг решил иначе. Я выронил из рук мушкет, стряхнул с головы кивер, а со спины заплечный мешок, и непослушные ноги, ковыляя и подкашиваясь, потащили меня куда глаза глядят — как казалось мне тогда, через много миль пустыни. Потом много велось разговоров о том, чтобы расстрелять меня, или подвергнуть публичной порке, но такого рода наказания не были приняты в тех войсках. Меня послали в гнусное место заключения — военную тюрьму, где держали на рисе и воде, а после отконвоировали в Бомбей, судили военно-полевым судом, вынесли самый суровый приговор и публично исключили из полка за трусость. Да, с меня, сына благородных родителей, владетеля немалой собственности, прилюдно сорвали мундир и под звуки «Марша негодяев»[5] с превеликим позором уволили со службы в рядах войск Славной Ост-Индской Компании.

Уж и не припомню, как именно я вновь добрался до Англии — то ли мне предоставили место на корабле бесплатно, то ли я заплатил за билет, то ли отработал проезд. Помню только, что корабль, на котором я плыл, потерпел кораблекрушение близ Кейп-Кода и скоро пошел ко дну. Опасности не было ни малейшей — кругом так и кишели всякие корабли, большие и малые, и все до единой души были спасены, но я так страшно и беспрестанно трясся, когда шлюпки покидали судно, что вся команда хором заорала и закричала на меня, стоило мне лишь сунуться на борт, и мне не

позволили войти в лодку вместе со всеми, а отвезли на берег, волоча за кормой.

Я сел на следующий корабль, на котором не делал ровным счетом ничего, кроме как трясся всю дорогу от Кейп-Кода до Плимута, и так наконец достиг Англии. Там я написал несметное количество писем все моим друзьям и родичам, и милой Тилли, и дяде Бонсору. Однако единственным ответом, что я получил, стало несколько сухих строчек от адвоката моего дядюшки, в коих меня уведомляли, что неразборчивые мои каракули достигли персоны, которой были адресованы, но что более никакого общения между нами не будет и быть не может. Тут наконец я вошел во владение своей собственностью до последнего пенни, но, сдается мне, в самом скором времени умудрился всю ее растрясти в кости или в багатель[6], в кегли или в бильярд. Помню также, что не сумел нанести ни единого удара по шару в последней из перечисленных игр без того, чтобы не стукнуть моего соперника кием в грудь, опрокинув при этом метку, расколотив шаром окно, разбив выстроенные в порядке шары и разодрав зеленую ткань стола — за что и уплатил владельцу заведения совершенно немыслимое количество гиней.

Помнится, как-то днем я отправился в ювелирную лавку на Регент-стрит покупать ключ для часов — серебряных, поскольку золотые часы с репетицией успел уже где-то протрясти все тем же необъяснимым образом. Стбяла зима, я одел теплое пальто с широкими рукавами. Пока продавец подбирал ключ к моим часам, меня вдруг охватил необычайно свирепый приступ малярии и, к ужасу моему и смущению, в попытке ухватиться за прилавок, чтобы не упасть, я опрокинул поднос с бриллиантовыми кольцами. Часть из них упала на пол, остальные же — о горе мне! о мой позор! — завалились прямехонько в рукава моего пальто. Я так трясся, что словно бы нарочно затрясал бриллиантовые кольца к себе в рукава, карманы и даже ботинки. Поддавшись какому-то безотчетному порыву, я бросился бежать, но у самой двери был схвачен и доставлен, весь трясущийся, в полицейский участок, который, замечу кстати, тоже ходил ходуном. Надо сказать, в этот момент как раз случилось небольшое землетрясение, так что вместе со мной тряслась добрая половина Лондона.

Я предстал перед магистратом и, не прекращая трястись, был приговорен к предварительному заключению. После того, как я продрожал некоторое время в побеленной камере, меня, трясущегося, отвели в Центральный уголовный суд и поместили, все так же трясущегося, на скамью подсудимых по обвинению в попытке воровства частной собственности на сумму в пятнадцать сотен фунтов. Все улики говорили

против меня. Адвокат мой пытался сослаться на что-то вроде «клептомании», но тщетно. Дядя Бонсор, срочно вызванный из Дувра, дал серьезные показания против меня, обрисовав меня самыми черными красками. Меня признали виновным — да, меня, невиннейшего и несчастнейшего молодого человека, какого только видала эта земля — признали виновным и приговорили к семи годам ссылки! Ужасная сцена эта и сейчас ярко стоит перед моими глазами. Решительно все в суде яростно трясли на меня головами — тряс дядя Бонсор, тряс судья, трясли все до единого зрители на галерке, а я, вцепившись одной рукой в прутья, ограждавшие скамью подсудимых, дрожал, точно десять тысяч миллионов самых натуральных осиновых листов. Голова моя раскалывалась, мозг так и кипел, и тут

я проснулся.

Я лежал в самой неудобной позе в вагоне первого класса поезда, следующего к Дувру; весь вагон ходил ходуном; масло в светильниках плескалось так, что едва не выплескивалось за край, а трости и зонтики дружно подпрыгивали в сетках над головами пассажиров. Поезд летел на всех парах, и мой кошмарный сон объяснялся всего-то навсего свирепой качкой и подпрыгиванием вагона. Тогда, сев и с невероятным облегчением протирая глаза (но в то же время судорожно хватаясь за что попало рядом — так сильно трясло поезд), я принялся вспоминать все, что снилось мне раньше или что я вообще слышал о подобных снах, привидевшихся, когда вокруг плещет море или что-нибудь сильно стучит в дверь. Размышлял я и о давно известной взаимосвязи между необычными звуками и загадочном ходом наших мыслей в глубинах подсознания. И тут до меня дошло, что в один из отрезков моего болезненного бреда, а именно, когда меня аттестовали в рекруты, я нисколечки не дрожал и не трясся. Нетрудно было увязать эту временную свободу от малярии с двумя-тремя минутами, что поезд простоял в Танбридж-Уэлс.[7] Но благодарение Небесам — все это было лишь сном!

— Этак недолго и сотрясение мозга заработать! — воскликнула сидевшая напротив меня дородная пожилая леди, намекая на толчки поезда, когда за окном появился кондуктор с криком «Ду-уувр!»

— Да, мэм, трясло куда как больше обычного, — согласился он. — Должно быть, мы не раз едва не сходили с рельс. Ну да ладно, завтра к утру все крепления как следует проверят. Добрый вечер, сэр, — это уже относилось ко мне, я хорошо знал этого кондуктора. — Веселого Рождества вам и счастливого Нового Года! Должно быть, вам надобен кэб к Снаргестоунской вилле? Эй, извозчик!

Да, мне и впрямь нужен был кэб, и в нем я и поехал. Я расплатился с кэбменом совершенно свободно, не уронив ни монетки. Когда я приехал, мистер Джейкс туг же настоял на том, чтобы принести мне в столовую чего-нибудь горячительного. На улице ведь, сказал он, «смертельный холод». Я присоединился к веселому обществу и был встречен распростертыми объятиями моей Тилли и распахнутым жилетом дядюшки Бонсора. Я принял участие в веселых играх и забавах, какие водятся на Святки. Мы все обедали вместе на Рождество, причем я преловко управлялся с супом и умело разрезал индейку, а назавтра, в «день подарков», удостоился от дядюшкиного адвоката похвал за дивный почерк, который продемонстрировал подписью на необходимом документе. И двадцать седьмого декабря тысяча восемьсот сорок шестого года я женился на моей обожаемой Тилли и собирался счастливо прожить всю оставшуюся жизнь, как вдруг

я снова проснулся

— на сей раз, по настоящему проснулся в своей кровати в Доме с Привидениями — и обнаружил, что меня просто-напросто слишком порастрясло в поезде по дороге сюда, и что не было ни свадьбы, ни Тилли, ни Мэри Ситон, ни миссис Ван Планк — никого, кроме меня и Призрака Малярии, да двух внутренних окон в Двойной Комнате, которые дребезжали, точно призраки двух часовых, желавших таким призрачным образом способствовать моей безвременной кончине и нести надо мной призрачный караул.

Призрак картинной галереи

Белинда, со свойственным ей скромным спокойствием, тотчас же откликнулась за новый призванный дух и тихим, отчетливым голосом начала:

Погасли свечи; я вошла в покой,
Томима непонятною тоской.
Там тени трепетали на стене,
Все ближе, ближе крадучись ко мне;
Сгущалась тьма, и лишь камина свет
Один старинный озарял портрет,
Монахини. Не знаю, что виной,
Мой детский страх иль полумрак ночной,
Но был портрет тот полон тайных сил —
Такие Рембрандт рисовать любил.
Скорбь мировая тенью пролегла
Вокруг ее склоненного чела,
Прозрачны были кисти тонких рук,
Сливался с темнотой ее клобук.
Мерцали угли, и в ночной тиши
Вдруг поднялась из недр моей души
Навеянная сменою теней
Старинная легенда прошлых дней.

О Юг! О неземная колыбель,
Откуда вышел первый менестрель!
О, виноградный край, что в мир принес
Романтику — дитя волшебных грез.
Я там была. Чудесным летним днем
Сияло солнце золотым огнем,
Был сонный воздух зноем напоен,
Безоблачен и ясен небосклон.
И лишь негромко шелестел прибой,
Играла рябь на глади голубой,
И волны в упоенье тихих нег
Ласкали средиземный жаркий брег.

Все было тихо; вдруг церковный звон
Рассеял полуденный мирный сон.
Дробясь в холмах, затих протяжный звук
В спокойствии, объявшем все вокруг.
Невдалеке, отчетливо видна,
Белела монастырская стена,
И спутник мой, что жизнь провел свою
В том полном песен и легенд краю,
Знал все долины и леса окрест,
Знал каждое преданье этих мест,
Поведал мне в тот безмятежный час
Старинный и причудливый рассказ:

Сей монастырь стоит здесь с давних пор
В лощине тихой меж холмов и гор.
Боярышник, как верный часовой,
Благочестивых дев хранит покой.
И с давних пор сей колокольный глас
Селянам возвещал молитвы час.
Здесь рыцарь, прежде чем уйти в поход,
Ночь у церковных проводил ворот.
Сюда сходился в праздник местный люд,
Свои дела отдать на Божий суд,
И каждый знал, что здесь всегда найдет
Он утешенье от земных невзгод.
Усталый путник, бредший средь холмов,
Там обретал приют, и стол, и кров.
Монахинь осеняла благодать —
Чудесное искусство исцелять,
Всегда хранить им завешал устав
Запас целебных снадобий и трав.

Но кто своей красой пленяла взор
Превыше всех послушниц и сестер?
Чей шаг был легок, песня так звонка,
А веки, точно крылья мотылька?
Кто та, чья жизнь недолгая была
Доселе лишена невзгод и зла
(Хотя всегда, сочувствия полна,

Чужой внимала горести она),
Чье сердце билось, верою горя?
Сестра Анжела, дочь монастыря.
Не ведая родителей своих,
Она росла среди сестер святых
И, из ребенка в деву обратясь,
Невестою Христовой нареклась.
Она следила, чтоб пред алтарем
Лампада пламенела день за днем,
И вышивкой проворная рука
Расцвечивала тонкие шелка.
Но среди всех занятий было ей
Одно других отрадней и милей —
Сбирать цветы, чтоб возлагать у ног
Пречистой Девы красочный венок.
В краю том благодатном круглый год
Земля цветами дивными цветет —
Анжеле нравилось, чтоб всяк цветок
Украсил церковь в отведенный срок.
Там летом сотни роз, за рядом ряд
Своим цветеньем радовали взгляд,
Пред алтарем без счета было их —
Пурпурных, алых, белых, золотых,
Но таял роз померкший ореол,
И лилия вступала на престол.
(Анжеле, правда, мнилось, что святой
Марии люб боярышник простой.)
Окончив труд свой, устремляла ввысь
Она глаза, и к небесам неслись
Ее молитвы — дивны и чисты,
Как эти непорочные цветы.
Она молилась. Тихо таял день,
Неслышно сестры, как за тенью тень,
Сходились в церковь, чтобы перед сном
Пропеть во славу Господа псалом.
Анжелин голос выше всех звенел —
«Ave, Maria» хор церковный пел.

Увы, недолог мирных дней рассказ.

Сменяется грозой затишья час.
Огонь войны тот дивный край обжег
И потянулся поселян поток
К монастырю, чтобы в его стенах
Излить слезами пережитый страх.
И как-то ночью у церковных врат
Предстал из сечи вышедший отряд
И командир, смиренен, но суров,
Вручил своих израненных бойцов
Заботам перепуганных сестер,
Что выбежали в панике во двор.
Но жалость все ж превозмогла испуг,
Нашлась работа для умелых рук
Любой из них. Кто старше и мудрей —
Тем поручалось дело посложней,
С которым прочим справиться невмочь.
Анжела, все душой стремясь помочь,
Покамест так неопытна была,
Что тяжких ран лечить и не могла,
Засим и был ей под опеку дан
Младой боец с легчайшею из ран.
И день за днем без отдыха она
Сидела с ним. Стояла тишина,
Лишь слышался страдальца тихий стон
Иль голос девушки. Но вот очнулся он,
Открыл глаза, вздохнул — и с неких пор
Пошел меж ними тихий разговор.
Чтоб от страданий юношу отвлечь,
Сестра Анжела заводила речь
О тех святых, кто смертию снискать
Сумел на небе Божью благодать.
Казалось, хитрость возымела толк,
И вскоре ропот жалобный умолк.
Тогда, успехом воодушевясь,
Она ему расписывать взялась
Убранство церкви в Пасху и хорал,
Что под немыми сводами звучал.
Как в Рождество украшен был алтарь:
Сошлись к пещере и пастух, и царь,

Все в белых ризах, старцев череда,
И в вышине сияет им Звезда.
И как Мадонну славили, и как
В тот день природа всем явила знак,
Что Божью Деву благодарно чтит:
Когда, покинув с пеньем скромный скит
И ввысь хоругви к небесам воздев,
Процессия вошла под свод дерев,
Цветы и лепестки со всех ветвей,
Ковром дорогу вдруг устлали ей.
А рыцарь слушал девушку, но вот
Он описал Анжеле в свой черед
Турниры, поединки и балы,
И дамам расточал он похвалы.
Сперва она не верила. Ужель
Мог мир, что был неведом ей досель,
Быть так прекрасен? И ужель таят
Погибель сны, прельщающие взгляд?
Она перекрестилась, но опять
Была готова трепетно внимать
Словам, что воспевали вновь и вновь
Чудесный мир, где властвует любовь.
Расправь крыла, о ангел, поспеши
Спасти покой доверчивой души!
Увы! Шли дни. В молитвах и трудах
Монахини не знали о силках,
Что их голубку жаждут уловить
И с истинной дороги совратить,
Ведь, скромного достоинства полна,
Казалась той же, что всегда, она.
Все той же? Нет! Увы, с недавних пор
Она не к Богу обращала взор.
И как-то ночью монастырь уснул,
Ворота отворились… Кто скользнул
Все дальше, прочь по ласковой траве,
В сиянье лунном? Быстрых тени две
Мелькнули и пропали без следа,
Лишь тихо билась о песок вода,
О чем-то ветер средь холмов вздыхал

И ветками боярышник качал.

Ах, надо ль говорить, как краток сон?
Хоть сладок, но недолговечен он.
Ах, надо ль говорить, что годы слез
Собой сменяют час блаженных грез?
Богатство, роскошь, коим равных нет —
Но все мрачнее тень, что застит свет…
Средь суеты и шума праздных дней
Раскаяния голос все слышней!
Анжела вдруг очнулась ото сна,
С глаз ослепленных спала пелена,
Ей довелось познать в чужом краю,
На что она сгубила жизнь свою,
Тот призрак, что манил и вмиг исчез,
Земную тьму, на кою свет небес
Она сменяла! Но увы, теперь
Кто бы открыл перед беглянкой дверь?

Так годы шли; ту, чья стезя — порок,
И в селах не пускали на порог,
Адамы, вздрогнув, отвращали взгляд,
Страшась запачкать душу и наряд.
Но вот однажды, сердце подчинив,
Проснулась в ней тоска, святой порыв
Еще хоть раз увидеть те места,
Где красоту венчала чистота,
Пройти знакомой тропкой наяву,
Под мирным кровом преклонить главу,
Обитель детства только раз узреть,
Взглянуть на милый дом — и умереть!
Измучена, раскаянья полна,
Неведомою силою она
Влеклась вперед; все дальше, все скорей,
Просила подаянье у дверей,
Изнемогая, в холод и в жару,
Брела; но вот однажды, поутру,
Едва поля позолотил восход,
Блеснула синева безбрежных вод;

Средь пенного боярышника скрыт,
Белел, как прежде, безмятежный скит.
Но вспомнят ли беглянку? Нет, о нет!
В лице погас неизъяснимый свет
Младой души, познавшей благодать;
Послушницу Анжелу не узнать!
Она — к порогу. Колокольный гул
Пронзил ей сердце и к земле пригнул.
И та, в ком слез давно иссяк родник,
Рыданий не сдержала в этот миг.
Ужели смерть? Волной нахлынул страх,
Дыхание застыло на устах…
Припав к решетке кованых ворот,
Она молиться принялась. Но вот
Донесся звук шагов издалека,
Заслонку отодвинула рука;
Сочувствия и жалости полна,
Привратница взглянула из окна
И обратилась к нищенке. «Открой, —
Взмолилась та, — о, сжалься, успокой
Отчаянье измученной души!
Впусти меня, дай умереть в тиши!»
Утешив гостью, за ключом сестра
Ушла и скрылась в глубине двора.
Та, глядя вслед, приподнялась с земли;
Неясный звук шагов затих вдали…
Но что за глас нарушил тишину,
Затронув в сердце тайную струну?
Она всмотрелась: перед ней возник
Из мглы небытия знакомый лик —
Она сама! Отроковица? Нет,
Не дева, преступившая обет,
Но схимница — мудра, кротка, нежна:
Такой с годами стала бы она!
Анжела не сводила взгляда: вдруг
Оделись в золото и лес, и луг:
Фигура, ослепительно-светла,
Сменила схимницу: вокруг чела
Лучился нимб, а милосердный лик

Сиял приветно. Не сдержавши крик,
Анжела руки к ней простерла: «Дочь
К тебе взывает и молит помочь, —
Заступница скорбящих, светоч дня,
О Богородица — спаси меня!»
И слышит: «Горечь прошлого забудь.
Вернись домой, дитя: окончен путь!
Про твой побег не ведают друзья:
Сестру Анжелу заменила я —
Молилась, пела, шла сбирать цветы, —
Чтобы теперь смогла вернуться ты!
Хоть все добры здесь, милости людской
Пределы есть: но выше — Всеблагой!
Прощение людей — благая весть,
Но в ней оттенок снисхожденья есть,
Так сколь же сладостней прощает Тот,
Кто этот дар к твоим ногам кладет,
Моля принять. Не люди — только Бог
В прощенье дарит славу — не упрек!
Пришла привратница — но без следа
Исчезла нищенка — зачем, куда?
Напрасно проискали там и тут
Бродяжку, вымолившую приют:
Одна Анжела вышла из лесов
В убранстве белоснежных лепестков.

С тех самых пор не проходило дня,
Чтобы, свою медлительность кляня,
Привратница молитвы не прочла
За душу нищенки, прося от зла
Заблудшую сестру хранить в пути,
И завершала: «Бог ее прости!»
«Аминь!» — Анжела откликалась в лад
Со скорбным сердцем. Видел всякий взгляд,
Что с неких пор вокруг ее чела
Печаль, едва заметная, легла.

Минули годы. Пробил скорбный час:
Монахини, не осушая глаз,

Сошлись молиться к смертному одру
Где рок настиг Анжелу, их сестру.
Но вот румянец щеки озарил,
И приподнявшись, из последних сил
Она заговорила. Все вокруг
Вдруг замерло. Ни вздох, ни слабый звук
Не слышался, и даже пламя свеч
Застыло. В тишине священной речь
Лилась про годы суетных обид,
Рассказ про грех и бегство, скорбь и стыд.
«Воздайте Богу за меня хвалу!» —
Она вздохнула, и, пронзая мглу,
Печальный и торжественный псалом
Вознесся ввысь — и замер. И потом
Узрели все, что Божья благодать
На ней свою оставила печать.
И сестры тело предали земле,
С венком боярышника на челе.

Таков конец легенды. В ней — урок
Господней милости: и кто бы смог
Постичь всю глубину того, что днесь
На миг открылось перед нами здесь?
Не каждый ли, в житейской суете,
Чтит память о возвышенной мечте,
Что встарь казалась явью? Идеал
Нам шумом белых крыл себя являл,
Он близок был — лишь руку протяни!
На пустяки растрачивая дни,
Мы в грезах разуверились давно.
Но наше место нам сохранено.
В ночи не гаснет ни одна звезда,
Преобразиться нам дано всегда.
Добро, пусть в помыслах, есть жизнь и свет,
Жизнь в Господе, а значит — смерти нет.
Зло, по своей природе, прах и тлен —
Мы всякий миг вольны расторгнуть плен;
А грезы, канувшие в мглу времен,

Есть истинная жизнь, а эта — сон.[8]

Призрак буфетной

Мистер Бивер, будучи «выкликнут» (как выразился его друг и союзник, Джек Гувернер), с величайшей готовностью выбрался из своего воображаемого гамака и приступил прямо к делу.

— Кто-кто, а Нат Бивер, — заявил он, — никогда не отлынивал от вахты.

Джек многозначительно поглядел на меня и скосил взгляд, полный восхищенного одобрения и похвалы, на мистера Бивера. Я за: метил, что, пребывая в рассеянном состоянии духа, что вообще время от времени с ним случалось, Джек обвил рукой талию моей сестры. Вероятно, сей душевный недуг происходил от старинной потребности иметь под рукой что-то, за что можно ухватиться.

Вот какие откровения поведал нам мистер Бивер:

Рассказ мой не займет много времени, и я прошу позволения начать с прошлой ночи, с того самого момента, как мы все расстались, чтобы расходиться по спальням.

Все члены нашей славной компании вчера вечером поступили крайне разумно и традиционно — каждый прихватил с собой по свече и зажег ее прежде, чем подниматься по лестнице. Хотелось бы мне знать — заметил ли кто-нибудь, что я даже не прикоснулся к своему подсвечнику и не зажег огня и отправился в постель в Доме с Привидениями так же, как отправляюсь везде, где бы мне ни довелось проводить ночь, то бишь, в темноте? Впрочем, не думаю, чтобы хоть кто-то обратил на это внимание.

Ну что, любопытное начало? Но еще любопытней (а вдобавок и чистая правда) что один только вид свечей в руках у остальных членов нашей славной компании поверг меня в дрожь и превратил для меня прошлую ночь в ночь кошмаров, а отнюдь не обычных сладких снов. Дело, собственно говоря, в том — смейтесь, леди и джентльмены, смейтесь, коли хотите! — что призрак, который преследовал меня прошлой ночью, как преследовал вот уже много ночей на протяжении долгих лет и будет преследовать меня до тех пор, покуда сам я не стану всего лишь бесплотным духом — это не больше, не меньше, чем обычный подсвечник.

Да, обычный подсвечник с обычной свечой, любой подсвечник с любой свечой — вообразите себе что угодно по своему усмотрению — вот что преследует меня. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы это было чем-нибудь поприятней или хотя бы поизящнее, более принятым в обществе —

ну, скажем, прекрасная дама, или золотой прииск, ну, на худой конец, хоть серебряный, или там винный погреб и карета шестерней или еще что-нибудь в том же роде. Но уж что есть, то есть, а значит, мне остается лишь смириться и постараться преподнести вам рассказ в лучшем виде — и буду премного благодарен, если и вы отнесетесь к этому так же.

Сам я человек неученый, однако ж имею смелость полагать, будто в любом случае, когда человека что-то навязчиво преследует, то причиною тому то, что этот человек перенес когда-то сильный испуг. Во всяком случае, моя одержимость подсвечником и свечой началась именно с того, что я испугался подсвечника и свечи — причем, леди и джентльмены, испуг этот стоил мне доброй половины жизни, а на какое-то время, и рассудка. Не очень-то приятно признаваться вам в этом, особенно до того, как вы ознакомились со всеми подробностями, но, вероятно, вы с охотой поверите мне на слово, что я отнюдь не отпетый трус, хотя бы потому, что сейчас-то мне хватает храбрости поведать вам об этой истории, которая выставляет меня отнюдь не в самом выгодном свете.

Ну вот вам и подробности, насколько я могу связно изложить их.

С самого детства, еще когда ростом я был не выше вот этой моей трости, я определился в юнги и даром времени не терял, так что к двадцати пяти годам дослужился уже до помощника капитана.

Дело было году этак в тысяча восемьсот восемнадцатом, а может, и девятнадцатом, точно уж и не припомню, но, словом, мне как раз стукнуло эти пресловутые двадцать пять лет. Вы уж извините, но память моя слабовата по части всяких дат, имен, чисел, мест и такого-прочего. Впрочем, за достоверность тех событий, кои я сейчас вам изложу, можете не бояться — они врезались ко мне в память так прочно, что и сейчас стоят у меня перед глазами. Однако то, что было перед тем словно бы подернуто туманом, и, коли уж на то пошло, то еще большим туманом подернуто то, что было после — и боюсь, туману этому уже не суждено развеяться, покуда я жив.

Итак, в восемнадцатом году (а может, и в девятнадцатом), когда в нашей части света царил мир — и, скажете вы, воцарился он отнюдь не слишком рано — происходили однако войны, разрозненные и скоропалительные, на том старинном месте сражений, что нам, морякам, известно под названием Испанские Колонии. Власть испанцев в Южной Америке была свергнута вооруженным бунтом и восставшие провозгласили себя новым правительством. Между новым и старым правительствами имело место немало кровопролитных стычек, но по большей части верх брало новое под предводительством генерала Боливара

— знаменитейшего человека того времени, хотя ныне, это имя, кажется, совершенно стерлось из людской памяти.

Те англичане и ирландцы, которым нечем было заняться на родине и которые имели склонность подраться, присоединялись к генералу в качестве волонтеров, а иные из наших купцов сочли достойным предприятием поставку через океан припасов популярной стороне.

Конечно, в этом заключался немалый риск, но одна удачная спекуляция с лихвой покрывала убытки по двум провалившимся. А именно таковы истинные принципы торговли по всему свету, где бы я с ней не сталкивался.

В числе англичан, замешанных в сию испано-американскую распрю, довелось побывать отчасти и мне, вашему покорному слуге.

Я служил тогда помощником капитана на бриге, принадлежавшем некой фирме в Сити, которая вела торговлю, по большей части, во всевозможных скверных закоулках земного шара, максимально удаленных от дома, и которая в тот год, о котором я веду речь, зафрахтовала бриг с грузом пороха для генерала Боливара и его волонтеров. Когда мы отплывали, никто на корабле ровным счетом ничего не знал о полученных нами инструкциях — кроме только капитана, а тому они, сдается мне, вовсе не нравились. Не могу сказать вам доподлинно, сколько бочек с порохом было на борту и как много его содержалось в каждой бочке — знаю лишь, что иного груза у нас не было. Бриг наш назывался «Благие Намерения» — вы, пожалуй, скажете, что это не очень-то удачное название для судна, груженого порохом и посланного на помощь революции. И, насколько то касается конкретно моего путешествия, так оно и вышло. Я, леди и джентльмены, хотел пошутить, и мне, право, очень жаль, что вы не смеетесь.

«Благие Намерения» были самым поганым старым корытом из всех кораблей, на которых я только выходил в море — в каком отношении не взгляни, хуже и не придумаешь. Водоизмещения судно было не то двести тридцать, не то двести восемьдесят тонн, я что-то запамятовал, а команда составляла всего восемь человек — и вполовину недостаточно, чтобы управляться с таким бригом. Тем не менее, жалованье нам выдавали честно и сполна, а потому пришлось примириться с риском потонуть посреди моря, а в данном конкретном случае, еще и с риском взлететь на воздух вместе со всем грузом. Учитывая характер этого самого груза, мы были обременены всякими новыми правилами, которые нам пришлись от-нюдь не по вкусу и касались таких вещей, как курение трубок и зажигание ламп. Как оно обычно и бывает, сам капитан, отдавший эти распоряжения,

нисколько их не придерживался. Никому из нас не позволялось спускаться в трюм с горящей свечой — никому, кроме капитана, и уж он-то сколько угодно просматривал у себя в каюте карты или просто сидел при свете. Свет этот исходил от самой обычной кухонной свечи, из тех, что продаются по восемь-десять за фунт, а стояла она в старой оловянной плошке, с которой давно уже пооблез весь лак. Казалось бы, капитану куда более подобало бы обзавестись нормальной лампой или фонарем, так нет, он упорно цеплялся за свой старый подсвечник — именно этот подсвечник, леди и джентльмены, с тех самых пор и прицепился ко мне. Это, с вашего позволения, была тоже шутка и я премного обязан мисс Белинде вон в том углу за то, что она была так добра, что улыбнулась ей.

Итак, (я уже говорил «итак», но это выражение здорово помогает перейти к делу) мы поплыли на этой развалюхе и взяли курс сперва к Виргинским Островам в Вест-Индии, а завидев их, свернули к Подветренным Островам и держались все к югу и к югу, пока марсовый не закричал с мачты, что видит землю. Это было побережье Южной Америки. Просто удивительно, как мы умудрились проделать такой немалый путь на таком старом корыте, не потеряв ни паруса, ни реи, и не уморив ни одного матроса у насосов. Скажу я вам, не часто удавалось «Благим Намерениям» совершить такой рейс.

Меня послали наверх убедиться в том, что мы действительно видим землю, и я и вправду в этом убедился. Выслушав мой рапорт, капитан отправился к себе в каюту взглянуть на письмо с инструкциями и на карту. Вновь показавшись на палубе, он слегка изменил наш курс на восток — точные показания компаса выветрились у меня из головы, да это и не важно. Помню главное: еще до наступления темноты мы приблизились к земле и легли в дрейф на глубине четырех-пяти фарлонгов, а может, и шести, точно не скажу. Я бдительно следил за дрейфом судна — никто ведь не знал, как именно обстоят дела на побережье. Мы все гадали, отчего капитан не велел бросить якорь, но он сказал — нет, сперва он должен зажечь свет на верхушке фок-мачты и подождать ответного огня на берегу. Ждали мы, ждали, но огня так и не увидели. Стояла тишь, сияли звезды, с берега веял легкий ветерок. Сдается мне, в таком ожидании, потихоньку дрейфуя на запад, мы провели добрый час — и тогда, вместо ожидаемого огня на берегу, увидали подплывающую к нам лодку, в которой гребли всего двое.

Мы окликнули их. «Друзья!» — отвечали они, выкрикивая название нашего корабля. Их подняли на борт. Один из них оказался ирландцем, а второй — туземным лоцманом цвета крепкого кофе, слегка лепетавшим на

ломаном английском. Ирландец вручил капитану записку, а тот, в свою очередь, показал ее мне. Там говорилось, что та часть побережья, где мы находимся, небезопасна для выгрузки нашего карго, поскольку днем раньше здесь были захвачены и расстреляны шпионы врага (сиречь, старого правительства).

Засим нам следовало доверить бриг местному лоцману, который имел инструкции провести нас к другой части побережья. Записка была должным образом подписана и заверена, поэтому мы позволили ирландцу уплыть обратно на берег, а лоцману — приступить к исполнению своих законных обязанностей на бриге. Вплоть до самого полудня следующего дня он вел нас все дальше от земли — по-видимому, инструкции его приказывали нам держаться подальше от берега. После полудня же мы снова изменили курс и чуть раньше полуночи снова приблизились к берегу.

В жизни не видел таких гнусных проходимцев, как этот лоцман — тощий, трусливый, сварливый метис — он без устали осыпал матросов бранью, да в придачу на таком мерзейшем ломаном английском, что под конец все они готовы были вышвырнуть его за борт.

Капитан, как мог, утихомиривал их, и я тоже, как мог, утихомиривал их — ведь туземец указывал нам путь и приходилось волей-неволей с ним ладить. Тем не менее, на закате я, хотя у меня были все причины избегать этого как огня, все же умудрился повздорить с ним. Он собирался спуститься в трюм с трубкой в зубах, а я, разумеется, остановил его, ведь это было против правил. Он попытался было отпихнуть меня, а я возьми да толкни его — совсем не собираясь сбивать с ног, но почему-то сбил. Он молнией вскочил на ноги и выхватил из-за пазухи нож, но я выбил нож у него из рук, съездил мерзавца по гнусной роже и выкинул оружие за борт.

Лоцман кинул на меня злобный взгляд и убрался восвояси. Тогда я не придал этому взгляду особенного значения, но впоследствии мне пришлось еще вспомнить о нем.

Ночью, между одиннадцатью и двенадцатью часами, мы были уже совсем рядом с берегом, как ветер вдруг упал. Следуя указаниям лоцмана, мы бросили якорь. Темно было, хоть глаз выколи, и тихо-претихо, ни единого ветерка. Капитан с двумя нашими лучшими матросами остался на палубе нести вахту. Моя очередь наставала лишь в четыре утра, но мне не нравилась ни эта глухая ночь, ни сам лоцман, ни положение вещей вообще, так что я тоже устроился вздремнуть на палубе, чтобы в любую минуту быть наготове. Последнее, что я помню — это как капитан прошептал мне, что ему это все тоже не нравится и что он спустится вниз и еще разок сверится с инструкциями. Это я еще помню — но потом мерное и

медленное покачивание брига погрузило меня в беспробудный сон.

Проснулся я, леди и джентльмены, от какой-то возни на полубаке и кляпа во рту. На груди и на ногах у меня сидело по человеку и в считанные четверть минуты я оказался связан по рукам и ногам. Бриг был захвачен испанцами. Они сновали по палубе. Я услышал шесть тяжелых всплесков по воде, один за другим — я видел, как капитана, бросившегося вверх из кубрика, пронзили ударом ножа в сердце — и раздался седьмой всплеск. Все, кроме меня, до единой живой души, были вырезаны и брошены в море. Я понятия не имел, почему меня пощадили, но вдруг лоцман с фонарем в руке склонился надо мной, дабы убедиться, что это именно я. На лице его играла дьявольская ухмылка и он кивнул мне, словно говоря: «Ты толкнул меня и ударил по щеке, а я за это теперь сыграю с тобой в кошки-мышки!»

Я не мог ни двинуться, ни произнести ни звука, но глаза мне не завязали, так что я видел, как испанцы открывают грузовой люк и готовят тали, чтобы поднять карго из трюма на палубу. Еще через четверть часа на воде раздался плеск шхуны или еще какого-то небольшого суденышка. Оно пришвартовалось рядом с нами, и испанцы принялись грузить на него порох. Все, кроме лоцмана, так и надрывались, он же время от времени подходил со своим фонарем и поглядывал на меня, ухмыляясь и кивая все так же дьявольски, как и в первый раз. Теперь я уже достаточно стар, чтобы не стыдиться признавать правду, и скажу начистоту, что вид его повергал меня в небывалый ужас.

Испуг, веревки, кляп и невозможность пошевелить ни рукой, ни ногой окончательно вымотали меня к тому времени, как испанцы завершили работу. На небе как раз занималась заря. Захватчики перегрузили на свое суденышко большую часть нашего груза, но не весь, а теперь спешили убраться восвояси, пока не рассвело. Едва ли надо говорить, что к тому времени я настроился уже на самое худшее. Было более чем очевидно, что лоцман является одним из вражеских лазутчиков, втершимся в доверие нашим консигнаторам.

Он, а скорее, его хозяева, узнали о нас довольно, чтобы заподозрить, что за груз мы везем; ночью же мы бросили якорь в том месте, где им удобнее всего было напасть на нас, и мы сурово поплатились за недостаток матросов и недостаточную бдительность, явившуюся следствием нехватки людей. Все это было яснее ясного — но что лоцман собирался сделать со мной?

Даю слово мужчины, даже и сейчас, один только рассказ о том, что он со мной сделал, заставляет плоть мою трепетать от ужаса.

Вскоре все пираты покинули бриг. Остались лишь лоцман и двое испанских матросов, а они схватили меня, по-прежнему связанного и с кляпом во рту, и, швырнув в трюм, привязали так, что я мог только слегка поворачиваться с боку на бок, но не мог при этом полностью перевернуться и откатиться в угол. Затем они оставили меня. Оба были мертвецки пьяны — но дьявол-лоцман был совершенно трезв, помяните мои слова — трезв, как я сейчас.

Некоторое время я лежал в темноте, а сердце у меня колотилось так сильно, что только чудом не выскочило из груди. Минут через пять в трюм спустился лоцман, на сей раз один. В одной руке он держал тот самый распроклятый капитанов подсвечник и плотницкое шило, а в другой — моток длинной, тонкой и отлично промасленной бечевки. Не доходя до меня двух шагов, он поставил подсвечник с воткнутой в него новенькой свечкой на пол у стенки трюма. Как ни слаб был свет, но все же его хватало, чтобы осветить с дюжину бочонков с порохом, стоявших вокруг. Едва завидев бочки, я начал понимать, что именно замыслил этот злодей. Меня с головы до пят объял смертельный страх, а по лицу градом хлынул холодный пот.

На моих глазах лоцман подошел к одному из бочонков, стоявшему у стенки трюма в ряд со свечой, но примерно в трех футах от нее, и шилом просверлил в нем дыру, откуда тотчас же посыпалась струйка пороха, черного, как сам дьявол. Подставив под струйку ладонь, негодяй набрал полную горсть адского порошка и, заткнув отверстие концом промасленной бечевы, принялся втирать порох в веревку, пока каждый волосок ее не почернел. А затем — и это так же истинно, как и то, что я сижу сейчас перед вами, так же истинно, как небо над головой — затем он протянул свободный конец этого длинного, тонкого и зловещего фитиля к зажженной свече, стоявшей подле моего лица, и, несколько раз обвернув его вокруг нее, закрепил фитиль примерно на уровне трети свечи, считая от огонька вниз. После, приблизив лицо к моему лицу, он прошептал мне в самое ухо:

«Взлетай на воздух вместе с бригом!»

Через миг он был уже наверху на палубе и вместе со своими сообщниками захлопнул люк над моей головой. Но они плохо закрепили крышку на дальней стороне от меня — и сквозь нее пробивалась узенькая полоска света. Я слышал, как слабеет вдали плеск шхуны по воде — плеск! плеск! — все тише и тише по мере того, как пираты уводили свое суденышко из мертвенного спокойствия бухты навстречу морским ветрам. Все тише и тише, — плеск! плеск! — и так на протяжении примерно четверти часа.

Пока звуки эти звенели у меня в ушах, глаза мои оставались неотрывно прикованы к свече. Она была зажжена только что и сама по себе горела бы около шести-семи часов — но фитиль обвивал ее на трети от верха — значит, пламя достигнет его примерно через два часа. Так я и лежал — связанный, прикованный к полу, с кляпом во рту — следя, как жизнь моя сгорает вместе со свечой. Так я лежал, один посреди океана, обреченный разлететься на атомы и видеть, как неотвратимый рок этот с каждой секундой приближается все ближе и ближе и настанет, не пройдет и двух часов; беспомощный, не в силах ничего изменить, и безгласный, не в силах даже позвать на помощь. Просто удивительно, как это я не оставил в дураках пламя, фитиль и порох и не умер от страха задолго до того, как истекли первые полчаса моего пребывания в трюме.

Не могу сказать доподлинно, сколько времени я оставался в сознании после того, как плеск шхуны затих вдали. Я могу проследить все, что я делал и о чем я думал вплоть до какой-то определенной точки, но дальше сбиваюсь и теряю память точно так же, как потерял тогда способность мыслить и чувствовать.

Едва люк захлопнулся над моей головой, я (как поступил бы любой на моем месте) стал отчаянно пытаться освободить руки. В той безумной панике, что владела мною, я в два счета умудрился жестоко порезать руки путами, словно ножами, но сами веревки не поддались ни на йоту. Еще меньше было надежды освободить ноги или оторваться от креплений в полу, к которым я был привязан. Кляп (если вы помните о нем) был моим жестоким врагом; я мог свободно дышать лишь через нос — а это поистине скудный источник воздуха, когда человек напрягает силы так, как напрягал их я в тот день.

Наконец я сдался и затих, пытаясь отдышаться и отчаянным напряженным взглядом глядя на свечу. Пока я глядел на нее, мне пришло вдруг в голову попробовать задуть свечу сильным выдохом через нос. Но пламя было слишком далеко и слишком высоко. Я все пытался, пытался и пытался, а потом снова сдался и снова затих, все так же глядя на свечу, а свеча глядела на меня. Плеск шхуны слышался уже совсем слабо, я еле-еле различал его в утренней тишине. Плеск! плеск! — все слабее и слабее — плеск! плеск!

До сих пор у меня не было времени толком задуматься, но теперь на душе стало совсем уж скверно. Нагар на свече становился все выше и выше, а просвет между пламенем и фитилем, длина которого была длиной моей жизни — все короче и короче. Я высчитал, что жить мне остается меньше полутора часов. Полтора часа! Есть ли шанс, что за это время с

берега к бригу подойдет лодка? Я полагал, что в чьей бы власти ни находилось побережье — в руках нашей стороны или же в руках противника — но все же они должны рано или поздно выслать кого-то к кораблю, просто потому, что он был чужой в этих краях. Для меня лично вопрос заключался в другом — скоро ли? Судя по тому, что мог я разглядеть в щель над люком, солнце еще не встало. До того, как бриг был захвачен, мы считали, что поблизости нет деревень, поскольку ночью не видели никаких огней. И, судя по доносившимся до меня звукам, стоял полный штиль, так что судно наше не могло прибить ветром поближе к берегу. Будь у меня в запасе хотя бы часов шесть, шанс бы еще оставался, считая от восхода до полудня. Но за полтора часа, которые к этому времени уже уменьшились до часа с четвертью — или, иными словами, когда все: ранний час, пустынность и безлюдие побережья, мертвое безветрие — играло против меня — мне не оставалось даже призрачного шанса. Осознав это, я снова вступил в схватку — последнюю — со своими путами, но лишь сильнее порезался.

Я снова сдался и бессильно затих, прислушиваясь, раздается ли еще плеск шхуны. Он исчез! Я не слышал ни звука, лишь время от времени на поверхность моря с глухим бульканьем выныривали рыбы, да тихонько потрескивали старые рангоуты нашего горе-брига, медленно переваливающегося с боку на бок по легкой зыби, игравшей на спокойной воде.

Час с четвертью. По мере того, как ускользала эта четверть, нагар на фитиле рос с угрожающей быстротой; его крючковатая верхушка утолщилась, стала похожей на шляпку гриба. Она же вот-вот обвалится! А вдруг покачивание брига скинет ее, раскаленную докрасна, за край свечи прямо на смертоносный фитиль? Если так, то мне осталось жить вместо часа всего лишь около десяти минут. Это открытие мгновенно переключило мои мысли на новую проблему и я принялся гадать про себя, на что похожа смерть от взрыва. Больно ли это? Нет, пожалуй, взрыв слишком быстр, чтобы ощутить боль. Наверное, я всего-то и почувствую только один треск где-то внутри меня, а может, и снаружи, а не то, и там и там разом и ничего больше? А скорее всего, даже и без треска; интересно, умру ли я в то самое мгновение, как тело мое разлетится на миллионы крошечных кусочков? Я не мог понять, не мог представить себе, как все произойдет. Но не успел я и половины всего этого продумать толком, как мимолетное спокойствие моих мыслей покинуло меня и я снова совсем запутался.

Когда я снова вернулся к прежним раздумьям (или когда они вернулись ко мне — точно не скажу), нагар зловеще нависал над свечой, над огоньком

ее вилась струйка дыма, обугленная верхушка была широкой, красной и в любую секунду могла упасть.

Ужас и отчаяние, овладевшие моим существом при этом зрелище, увели меня в новом направлении, на сей раз полезном и правильном хотя бы для бедной моей души. Я попытался молиться: про себя, как вы понимаете, поскольку кляп не позволял мне молиться вслух. Да, я попробовал молиться, но свеча словно сжигала во мне все. Я отчаянно боролся с собой, чтобы отвести взгляд от медленного, убийственного пламени и устремить его через щель в люке на благословенные небеса. Я попробовал раз, попробовал другой — и снова сдался.

Тогда я попробовал закрыть глаза и не открывать их — попробовал раз… другой… и на второй раз мне это удалось. «Благослови, Господи, мою старушку мать и сестренку Лиззи. Храни их, Господи, и помилуй меня». Вот и все, что успел я сказать в сердце своем прежде, чем глаза мои, вопреки всем стараниям, снова открылись и ими снова завладело пламя свечи — завладело всем моим существом и мгновенно спалило все остальные мысли.

Я не слышал больше плеска рыб; не слышал покряхтывания рангоутов; я не мог даже думать; не ощущал на щеках своих пот предсмертной агонии — я мог только глядеть на тяжелый столбик нагара над свечой. Вот он разбух, пошатнулся и полетел вниз: огненно-красный в первый миг падения… черный и безвредный еще до того, как покачивание брига поймало его аккурат в плошку подсвечника.

Меня вдруг разобрал смех. Да! Я смеялся как ненормальный — и все из-за того, что нагар упал удачно. Но из-за кляпа я не мог смеяться нормально и лишь скрежетал от хохота. Я буквально трясся от смеха, трясся до тех пор, пока кровь не бросилась мне в голову и я не начал задыхаться. Пока у меня еще оставалось довольно здравого смысла, чтобы понять: столь безудержный смех в такую минуту означает, что рассудок мой начинает помрачаться. И у меня оставалось пока довольно здравого смысла, чтобы предпринять еще одну попытку прежде, чем мысли мои, точно обезумевшие скакуны, не вырвались на волю и не умчали меня черт знает куда.

Всего лишь один умиротворяющий взгляд на дневной свет, сочившийся в щель над люком — вот какова была следующая моя попытка. И вот, борьба за то, чтобы оторвать взор от свечи и хотя бы разок поглядеть на Божий свет, стала труднейшей борьбой в моей жизни — и я проиграл. Пламя удерживало мой взгляд столь же надежно, сколь надежно удерживали веревки мои руки. Я не мог отвернуться. Более того, второй раз

попытавшись закрыть глаза, я не смог даже и этого. Нагар снова нарастал. Кусок свечи между пламенем и обмотанным фитилем укоротился до дюйма или даже меньше. Сколько минут жизни означает для меня этот дюйм? Три четверти часа? Полчаса? Пятьдесят минут? Двадцать минут? Спокойно! Дюйм сальной свечи должен гореть дольше двадцати минут. Дюйм сальной свечи! Душа и тело соединены вместе лишь дюймам свечи! Замечательно! Подумать только, величайший из королей, что когда либо восседал на своем троне, и тот не может удержать вместе душу и тело человека, а какой-то дюйм сальной свечи может то, что неподвластно королю! Будет мне, что рассказать матушке, когда я вернусь домой, то-то она удивится. При этой мысли я снова расхохотался — и снова трясся, дрожал и задыхался, пока пламя не впрыгнуло в меня через глазницы и не поглотило, выжгло, спалило всего меня, оставив лишь холодный пепел и пустоту внутри. Я снова затих.

Мама и Лиззи. Не знаю, когда успели они вернуться, но они вернулись — и, как мнилось мне, на этот раз вернулись не в мои мысли, но прямо сюда, в трюм брига, живые и реальные.

Да, какие сомнения, это была Лиззи, легкомысленная, как всегда, и она смеялась надо мной. Смеялась! А почему бы и нет? Кто упрекнет Лиззи за то, что она решила, будто ее брат напился и валяется мертвецки пьяный в подвале среди бочонков с пивом? Спокойней! Вот она уже плачет — вьется кругом и кругом в каком-то яростном тумане, простирает ко мне руки, зовет на помощь… все слабее и слабее, как плеск ялика по воде. Исчезла! Сгорела в яростном мареве. Мареве? Огне? Нет, это не то и не другое. Этот свет исходит от матушки — матушка вяжет, и на концах ее пальцев горит десять огненных точек, а вокруг лица вместо обычных седых буклей висят мотки фитиля. Матушка сидит в своем старом уютном кресле, а со спинки кресла свисают две проворных длинных руки лоцмана, и из них все сыпется и сыпется порох. Нет! Ни пороха, ни матушки, ни кресла — лишь лицо лоцмана, раскаленное докрасна, точно солнце среди яростного марева, завернувшееся в это марево, бегающее взад и вперед по фитилю в облачке этого марева, вращающееся тысячу раз в минуту в облачке этого марева; непрестанно уменьшающееся до размеров одной едва различимой точки — и эта точка внезапно метнулась мне в голову, а потом — лишь огонь и марево — ни слуха, ни зрения, ни мыслей, ни чувств — бриг, море, я сам, весь мир — все разом исчезло.

О том, что было дальше, я ничего не знаю и ничего не помню до тех самых пор, пока я не очнулся в удобной кровати, по бокам сидело два дюжих и проворных молодца навроде меня самого, а в изголовье постели

стоял, наблюдая за мной, какой-то джентльмен. Было около семи утра. Мой сон (или то, что казалось мне сном) длился более восьми месяцев — я находился среди своих соотечественников на острове Тринидад — молодцы по бокам от меня были санитарами, а джентльмен в изголовье — врачом. Что я говорил и что делал на протяжении этих восьми месяцев, я так и не узнал и никогда не узнаю. Я проснулся после долгого-предолгого сна — вот и все, что мне известно.

Лишь через два месяца доктор счел, что мне уже можно услышать ответы на вопросы, которыми я беспрестанно засыпал его.

Как я и предполагал, бриг встал на якорь в довольно безлюдной части побережья, где испанцы могли не опасаться нежданной помехи, пока под покровом ночи будут выполнять свою убийственную работу. Мое спасение пришло не с берега, а с моря. Некий американский корабль, угодивший в штиль неподалеку от материка, на рассвете случайно проплывал мимо брига, и капитан, из-за безветрия располагавший уймой свободного времени, увидев судно, вставшее на якорь там, где не было никаких видимых причин для остановки, послал лодку с матросами под предводительством своего помощника поглядеть на это дело поближе и доложить о том, что он увидит. Высадившись со своей командой на палубу и обнаружив, что бриг пуст, помощник капитана заметил вдруг мерцание свечи сквозь щели над люком. Когда же он спустился в трюм, пламя было уже на волосок от фитиля; и если бы ему не хватило ума и присутствия духа предварительно рассечь фитиль пополам, то он и все его матросы взлетели бы в воздух вместе со мной. Фитиль занялся и вспыхнул шипящим красным огнем в тот самый миг, когда тушили свечу, и если бы он не был отрезан от пороховой бочки, один Бог знает, чем это могло бы закончиться.

О том, что же сталось с испанскими пиратами и лоцманом, я с того самого дня так ничего и не слышал. Что же до брига, то янки отвезли его (как и меня) в Тринидад, объявили своим трофеем и пользуются им, надеюсь, с успехом и не без выгоды. Я же был высажен на берег в том самом состоянии, в каком меня сняли с брига. Но, пожалуйста, не забывайте, что дело это происходило уже очень давно и с тех пор я, как имел уже честь вам заявить, благополучно и окончательно исцелился. Благослови вас Боже, я в порядке, в совершенном порядке, сами видите. Я просто слегка разволновался, рассказывая эту историю — немного разволновался, только и всего.

Призрак комнаты мастера Б.

Теперь настал мой черед, засим я, как говорят французы, «взял слово» и начал:

Едва я обосновался в треугольной мансарде, получившей столь своеобразную репутацию, как мысли мои естественным образом обратились к мастеру Б. Домыслы мои на его счет были неспокойны и многообразны. Было ли его полное имя Бенджамин, Биссекстиль (если он родился в високосный год[9]), Бартоломью или Билл. Или же сей инициал обозначал его фамилию, как то Бакстер, Блэк, Браун, Баркер, Буггинс, Бакер или Берд. Или же он был подкидышем и его нарекли просто Б. Был ли он отважным мальчиком и «Б» обозначало Бритта или Быка. Или же он состоял в родстве с той знаменитой дамой, что озарила мои младенческие годы, и в его жилах текла кровь знаменитой Бабушки-Сказочницы?

Я буквально измучил себя подобными бесплодными размышлениями. Я также расцветил этой загадочной буквой все веши и события, связанные с покойным, гадая, одевался ли он в Бежевое, носил ли Ботинки (ведь не ходил же, в конце-то концов, Босиком!), был ли мальчиком Благонравным, читал ли Библию, отличался ли в Беге, прославился ли среди одноклассников, как Боксер, приходилось ли ему в годы его Беспечного детства Без устали Бить Бокалы в Богноре, Бангоре, Борнмуте, Брайтоне или Бродстейрсе, точно Бойкая Бита?

Итак, с самого первого мгновения меня преследовала буква Б.

Вскоре я заметил, что мне, противу ожиданий, не снится ни единого сна про мастера Б. или что-либо, ему принадлежащее, зато едва проснувшись, в любой час ночи, я тотчас принимался думать о нем, теряясь в попытках привязать этот инициал к чему-то, к чему он бы идеально подходил, и на чем бы он прочно заякорился и наконец угомонился бы.

Таким образом я промыкался в комнате мастера Б. шесть ночей кряду, как вдруг начал замечать, что дело нечисто.

Первый признак того обнаружился ранним утром, когда уже рассвело, но день еще не разгорелся. Я стоял, бреясь, перед зеркалом, и внезапно, к своему ужасу и недоумению, узрел, что брею не себя — мне уж за пятьдесят! — а какого-то мальчугана. Неужели мастера Б.?

Я вздрогнул и обернулся через плечо, но там никого не было. Тогда я снова перевел взгляд в зеркало и отчетливо различил в нем черты и гримаску мальчишки, который бреется не для того, чтобы избавиться от

бороды, а для того, чтобы обзавестись ею. Пораженный до чрезвычайности, я несколько раз обошел комнату и вернулся к трюмо, решившись твердою рукой докончить ту самую процедуру, что прервалась столь странным образом. Зажмурившись для пущей храбрости, я глубоко вздохнул и открыл глаза — но встретился взглядом с молодым человеком лет двадцати четырех-двадцати пяти. Испуганный этим новым призраком, я снова зажмурился и попытался прийти в себя, но при новой попытке обнаружил в зеркале своего бреющегося отца, к слову сказать, давно покойного. Больше того, потом мне явился даже мой дед, хотя уж его-то я никогда в жизни не видел.

Несмотря на то, что эти нежданные посещения, разумеется, произвели на меня неизгладимое впечатление, я решился до назначенного срока хранить их в тайне. Вечером того же самого дня Я вернулся к себе в комнату, весьма возбужденный множеством любопытнейших мыслей и приготовясь приобрести некий новый опыт по части общения с духами. Не сказать, чтобы приготовления мои оказались безрезультатными, ибо, проснувшись от беспокойного сна около двух часов ночи, я обнаружил, что делю ложе со скелетом мастера Б. Вообразите же себе мои чувства!

Я вскочил с постели, и скелет вскочил вслед за мной. Тут послышался вдруг жалобный голосок: «Где я? Что со мной случилось?» — и пристально вглядевшись в ту сторону, я обнаружил там призрак мастера Б.

Юный дух был одет несколько старомодно, а скорее, не столько даже одет, сколько упрятан в жесткий костюм цвета перца с солью, особенный ужас коему придавали начищенные до блеска пуговицы. Я заметил, что эти пуговицы шли двойным рядом по плечам маленького привидения и, кажется, спускались вниз по спине. На шее у него болтался гофрированный накладной воротничок. Правой рукой (на которой я подметил явственные чернильные пятна), он держался за живот — из чего, да еще из прыщей у него на лице, я сделал вывод, что предо мной стоял мальчик, который постоянно принимал неумеренно большие дозы микстур.

— Где я? — патетически вопросил он. — И зачем я рожден был в дни Каломели и зачем всю эту каломель дали именно мне?

Я сердечно ответил ему, что, увы, никак не могу пролить свет на этот естественный вопрос.

— Где моя маленькая сестренка? — продолжил призрак, — и моя ангельская женушка и где тот мальчик, с которым мы вместе ходили в школу?

Я призвал духа успокоиться и меньше всего печалиться о потере мальчика, с которым он ходил в школу. Я заверил его, что за весь

человеческий опыт из таких мальчиков никогда ничего путного не выходило. Я поведал ему, что и сам во взрослой жизни несколько раз обращался к мальчикам, с которыми вместе ходил в школу, но ни один из них не откликнулся на мой дружеский зов. Я выразил скромное свое убеждение, что и этот мальчик не откликнулся бы. Я сказал, что он был мифическим персонажем, обманом и западней. Я вспомнил, как, разыскивая его в последний раз, нашел его за обеденным столом в белом галстуке, с расхожим мнением по любому существующему поводу наготове и с поистине титанической способностью навевать молчаливую скуку. Я поведал, как, в силу нашего с ним совместного пребывания в «Старом Дойлансе», он напросился завтракать со мной (социальный вызов, отвергнуть который решительно невозможно), и как, раздув в себе слабые огоньки былой веры в мальчиков из старого Дойланса, я согласился, но он оказался тем самым наводящим ужас врагом рода человеческого, что преследует сынов Адама своими неопределенными замечаниями о политике и предложениями, чтобы Английский Банк под страхом закрытия обязан был бы напечатать и пустить в оборот Бог знает сколько тысяч миллионов банкнот достоинством в один шиллинг и шесть пенсов.

Призрак выслушал меня молча, с остановившимся взором.

— Брадобрей! — выпалил он, когда я умолк.

— Брадобрей? — переспросил я, ибо не принадлежу к этой почтенной профессии.

— Осужденный, — продолжил призрак, — брить вечно сменяющихся клиентов — то меня, то юношу, то себя самого, то твоего отца, то твоего деда; осужденный также ложиться каждую ночь в постель со скелетом и вставать вместе с ним каждое утро…

(Услышав этот мрачный приговор, я содрогнулся).

— Эй, брадобрей! А ну-ка, догони!

Еще до того, как слова эти слетели с его уст, я ощутил вдруг, что на меня наложены чары, заставляющие гнаться за призраком. Я в тот же миг повиновался им — и покинул комнату мастера Б.

Многие знают, какие долгие и утомительные ночные странствия были в обычае у тех ведьм, которые сознались в этом и которые, без всякого сомнения, говорили чистую правду — ведь им помогали наводящими вопросами, а палач всегда стоял наготове. Я же торжественно заявляю, что во время моего пребывания в комнате мастера Б. призрак, который в ней являлся, взял меня в странствие почти столь же длинное и безумное, как странствия этих ведьм. Несомненно, в ходе этого странствия я был представлен какому-то крепкому старикану с козлиными рогами и хвостом

(нечто среднее между Паном и пожилым старьевщиком) устраивавшему обычные светские приемы, столь же бессмысленные, как в реальной жизни, но не такие чинные. Но видел я и иные вещи, что кажутся мне куда более важными и интересными.

Со всей твердостью заявляю, что говорю одну лишь правду, и не сомневаюсь, что всякий поверит мне. Знайте же, что я преследовал призрак сперва на помеле, а потом на игрушечной лошадке-качалке. Я готов даже клятвенно заверить, что от этого благородного животного пахло краской — особенно, когда оно нагрелось от скачки подо мной. После того я гнался за привидением в шестиместном двуконном экипаже — сооружении с своеобразным запахом, с которым современное поколение не знакомо, но который (и я снова готов поклясться в этом) представляет собой сочетание конюшни, паршивой собаки и очень старых кузнечных мехов. (Я аппелирую к предыдущему поколению, призывая его подтвердить или опровергнуть мои слова.) Я преследовал призрак и на безголовом ослике — по крайней мере, на ослике, которого так интересовало состояние его желудка, что он всю дорогу бежал, опустив голову под пузо; на пони, специально рожденном на свет, чтобы лягаться; на ярмарочной карусели; в первом кэбе — еще одном давно позабытом сооружении, где пассажир регулярно ложился спать, а возница подтыкал ему одеялко.

Чтобы не утомлять вас подробным описанием всех скитаний, пережитых мною в погоне за мастером Б. — скитаний, кои были длиннее и удивительнее приключений Синдбада Морехода, ограничусь одним только эпизодом, по которому вы можете судить и обо всех прочих.

Надо сказать, что я чудесным образом переменился. Я был собой, и в то же время не собой. Я сознавал в себе нечто, что оставалось неизменным всю мою жизнь, в любых ее стадиях и превратностях судьбы, и никогда не изменялось, и все же я был не тем, кто лег спать в комнате мастера Б. Лицо мое стало гораздо глаже, а ножки — совсем коротенькими, и со мной было еще одно такое же существо вроде меня с гладким личиком и коротенькими ножками. Мы сидели за дверью и я посвятил его в некий замысел весьма поразительного свойства.

Замысел состоял в том, чтобы завести сераль.

Собеседник мой горячо согласился. У него не было никаких сомнений в благопристойности этого плана, не было их и у меня. Ведь таков был обычай Востока, такова была традиция благородного калифа Гаруна аль-Рашида (о позвольте мне еще раз произнести это запятнавшее себя имя — столько связано с ним блаженных воспоминаний!), это был обычай весьма достойный и в высшей степени заслуживающий подражания.

— Да-да! — запрыгал от радости мой собеседник, — давай заведем сераль!

Мы порешили сохранить наш замысел в тайне от мисс Гриффин. Но не оттого, что у нас оставались хоть малейшие сомнения в похвальности восточного уклада, который Мы намеревались ввести — нет, просто мы хорошо знали мисс Гриффин и знали, что она лишена обычных человеческих симпатий и не способна оценить величие несравненного Гаруна. Итак, облачив наш план в непроницаемую завесу тайны от мисс Гриффин, мы доверили его мисс Буль.

В заведении мисс Гриффин на Хампстед-Пондс нас было десять: восемь леди и два джентльмена. Мисс Буль, достигшая (насколько я могу судить теперь) зрелого возраста восьми или девяти лет, занимала в обществе главенствующее положение. В тот же день я посвятил ее в суть дела и предложил ей стать Любимой Старшей Женой.

После недолгой борьбы с робостью, столь естественной и очаровательной у слабого, но прекрасного пола, мисс Буль заявила, что просто восхищена этой идеей, но хочет знать, что в таком случае уготовлено для мисс Пипсон? Мисс Буль — которую связывала с помянутой леди нежная дружба и безоговорочное доверие до самой гробовой доски, скрепленное клятвой на Сборнике Псалмов и Уроков в двух томах в ящичке с замочком — мисс Буль сказала, что, будучи подругой Пипсон, не может скрыть ни от себя, ни от меня, что Пипсон не пристало быть одной из многих.

Ну а поскольку у мисс Пипсон были премилые золотые локончики и голубые глазки (что в моем представлении олицетворяло тот женский образ, что зовется Красотой), я мгновенно ответил, что отвел для мисс Пипсон роль Прекрасной Черкешенки.

— Что это значит? — печально вопросила мисс Буль.

Я объяснил, что ей надлежит быть похищенной Купцом, приведенной ко мне под вуалью и быть проданной в качестве рабыни.

(Недавний мой собеседник уже был низведен на вторую мужскую роль при дворе и занял пост Великого Визиря. Впоследствии он отвергал подобное развитие событий, но после хорошей трепки за волосы сдался и заревел).

— Ужель мне придется ревновать? — осведомилась мисс Буль, потупляя взор.

— О, нет, Зобеида, — заверил я, — ты всегда будешь любимой женой. Первое место в моем сердце и на моем троне навечно принадлежит тебе.

Выслушав эти заверения, мисс Буль согласилась передать наше

предложение семи своим прекрасным подругам. Мы знали, что всегда можем довериться одной доброй и благородной душе по имени Табби, которая была в доме всего лишь прислугой за все, чья фигура напоминала палку от метлы, а лицо всегда было в большей или меньшей степени измазано углем. В тот же день после ужина я сунул в руку мисс Буль записочку, где говорилось, что сама рука Провидения пометила щеки Табби углем, уготовив для нее роль Месрура, прославленного предводителя Чернокожих Стражей Гарема.

Не так-то легко оказалось создать чаемое нами общество, ибо трудности бывают в любом деле. Недавний мой товарищ оказался низким негодяем и после того, как потерпел поражение в попытках узурпировать трон, проявил себя человеком без стыда и совести, отказавшись простираться ниц перед Калифом, называя его не Повелителем Правоверных, а просто «дружище» и заявив, что он, бывший товарищ, «так не играет» — играет! — и всячески иначе был груб и дерзок. Это злонамеренное поведение было подавлено общим негодованием Объединенного Сераля, а мне в награду достались улыбки восьми прекраснейших дочерей земли.

Однако ж улыбки расточать удавалось лишь тогда, когда мисс Гриффин отворачивалась, да и то украдкой, ибо среди последователей Пророка бытовала легенда, будто она видит не только глазами, но еще и через маленький кружок, вплетенный сзади в узор на ее шали. Но каждый день после обеда, на один час, нам удавалось воссоединиться и тогда Любимая Жена и остальные жены Королевского Гарема соперничали за право украшать своим очарованием досуг сиятельного Гаруна, освобождаясь тем самым от придворных обязанностей — каковые, по большей части, носили арифметический характер, ибо Повелитель Правоверных был слаб по части сложения и вычитания.

При сем неизменно присутствовал и преданный Месрур, предводитель Чернокожих Стражей Гарема (мисс Гриффин всегда призывала к себе этого офицера яростным звонком в один и тот же час), но он ни разу не сумел оправдать свою историческую репутацию. Во-первых, он вечно притаскивал с собой на заседания Дивана метлу, даже когда Калиф носил на плечах красную мантию гнева (накидку мисс Пипсон) и как ему не втолковывали его обязанности, никогда не мог справиться с ними удовлетворительно. Вовторых, его излюбленное восклицание «Ах вы, крошки мои ненаглядные» не было ни восточным, ни подобающим сану калифа. Втретьих, сколько ни учили его говорить «Бисмилла!», он вечно твердил «Аллилуйя!» Также этот офицер, что отнюдь не подобало его

званию, был не в меру смешлив, широко распахивал рот, проявлял свои чувства самым неуместным образом и как-то раз — дело было при покупке Прекрасной Черкешенки за пятьсот тысяч кошельков с золотом (это еще дешево!) — обнял разом Калифа, Любимую Жену и саму рабыню. (Позвольте же мне, между делом, сказать: «Благослови, Господи, Месрура и пусть к этой благородной груди прильнут когда-нибудь родные дочери и сыновья, скрашивая ее тяжкие дни».)

Мисс Гриффин была просто образцом благопристойности и я поистине затрудняюсь представить себе, какие чувства обуяли бы ее, узнай она только, выводя нас попарно на прогулку по Хампстед-роуд, что величественно шествует во главе Многоженства и Магометанства. Я искренне верю, что та тайная и необузданная радость, что охватывала нас при зрелище ничего не подозревающей мисс Гриффин, и то угрюмое торжество от сознания, что мы владеем убийственной тайной, неведомой мисс Гриффин (ведающей решительно все, что мы учили по книжкам), и были главными родниками, питающими наш секрет. Секрет этот хранился под покровом непроницаемой тайны, но в один прекрасный день оказался на грани саморазоблачения. Угроза эта и чудесное избавление от нее случились в воскресенье. Мы все десятеро во главе с мисс Гриффин вошли в церковь, куда ходили каждое воскресенье — обеспечивая заведению дополнительную рекламу подобным немирским способом — когда священник как раз зачитывал описание Соломона во всей славе его домашнего уклада. При упоминании этого монарха нечистая совесть мгновенно зашептала мне: «И ты, Гарун, и ты!». Вдобавок добрый пастырь чуточку косил, что также действовало на руку совести, ибо создавало впечатление, будто читает он, обратись непосредственно ко мне. Густой румянец, сопровождаемый холодным потом, залил мое лицо. Великий Визирь стал более мертв, чем жив, а весь сераль покраснел так, словно закатное солнце Багдада озарило своим сиянием прекрасные личики этих дочерей Востока. В сей зловещий миг мисс Гриффин поднялась и обвела детей Ислама свирепым взором. Мне уже чудилось, будто Церковь и Государство вступили в заговор с мисс Гриффин с целью разоблачить нас и что мы все вот-вот будем облачены в белые простыни и выставлены на позор в центральном проходе. Но моральные устои мисс Гриффин оказались столь западными (если можно так назвать их в противовес восточным мотивам), что она заподозрила всего-навсего греховное наличие яблок у нас в карманах и мы были спасены.

Я назвал сераль единым. Всего лишь по одному вопросу — а именно, имеет ли Повелитель Правоверных право на поцелуи в этом святая святых

дворца — разошлись мнения его несравненных обитательниц. Зобеида отстаивала контр-право Любимой Жены царапаться, а Прекрасная Черкешенка прятала лицо в зеленую бязевую сумочку, изначально предназначенную для учебников. С другой стороны, юная газель неземной красоты из плодоносных равнин Камдентауна (откуда ее завезли торговцы того каравана, что раз в полгода после каникул пересекает безбрежную пустыню) придерживалась более вольных взглядов, но, по недомыслию, распространяла их и на эту собаку и сына собаки, Великого Визиря, который не имел никаких прав вообще и о котором и говорить-то не стоило. Наконец эта трудность была разрешена путем компромисса и избрания самой юной рабыни на роль Общей Представительницы. Она вставала на стул и пресветлый Гарун запечатлевал на ее щечках приветствие, предназначенное всем его владычицам, а после Представительница получала личное вознаграждение из казны Гарема.

Так было. И вот, в самом расцвете моей славы и величия, сердце мое начал глодать червь тревоги. Я начал задумываться о матушке и о том, что скажет она, когда на каникулы я привезу с собой домой восемь прекраснейших дочерей земли — но всех восьмерых без приглашения. Подумал я и о том, хватит ли у нас кроватей, и о доходах своего отца, и о пирожнике — и уныние мое удвоилось. Сераль и коварный Визирь, словно почуя причины заботы, гнетущей их Повелителя, еще более усугубили ее. Они наперебой выражали безграничную свою верность и заверяли, что будут жить или умрут вместе с ним. Низведенный этими выражениями привязанности до полнейшего ничтожества, я долгие часы пролеживал без сна, обдумывая свою злую долю. В глубоком отчаянии я прикидывал даже, не пасть ли на колени перед мисс Гриффин, признавшись в родстве с Соломоном и отдавшись на волю неумолимых законов моей родной страны — но на выручку мне пришел неожиданный случай.

Однажды мы, как обычно, вышли пара за парой на ежедневную прогулку — по какому случаю Визирь получил ежедневный приказ следить за мальчишкой из лавки напротив и, ежели тот осмелится дерзновенным взглядом оскорблять красоту Гарема (что он проделывал регулярно), то удушить его этой же ночью — и сердца наши пребывали в печали, ибо несусветный поступок неземной газели поверг весь Двор в глубочайшую немилость. Накануне эта очаровательница под предлогом того, будто настал день ее рождения и будто ей были присланы в корзине несметные сокровища, дабы отпраздновать это событие (и то, и другое — бессовестнейшая ложь!), тайно, но весьма настойчиво пригласила соседских принцев и принцесс, числом тридцать пять, на бал и ужин со

специальным уведомлением, что «до двенадцати никто не разойдется». Подобный взлет газельей фантазии привел к нежданному появлению у дверей мисс Гриффин огромного сборища в праздничных одеяниях, в различных экипажах и под различным эскортом. Гости всходили на крыльцо в ореоле самых пылких предвкушений, но покидали его с позором и в слезах. При первом же двойном стуке в дверь газель ускакала на чердак и заперлась там, а миссис Гриффин при появлении каждого нового гостя приходила во все большее расстройство, пока наконец не разразилась слезами. Последовавшая затем капитуляция стороны, нанесшей оскорбление, повлекла за собой одиночество на хлебе и воде в чулане для нее и лекцию небывалой длины для всех нас, в ходе которой мисс Гриффин употребила следующие выражения: во-первых, «Я уверена, вы все знали об этом», во-вторых, «Все вы один другого хуже», и в-третьих, «шайка маленьких негодяев».

После всех этих происшествий мы уныло влачились вперед, и каждый, а я в особенности, учитывая гнетущую меня мусульманскую ответственность, совершенно пал духом. И тут к мисс Гриффин обратился какой-то незнакомый человек. Он некоторое время шел бок о бок с ней, о чем-то беседуя, а затем поглядел на меня. Предположив, что это представитель закона и что час мой пробил, я мгновенно обратился в бегство с расплывчатым намерением добраться до Египта.

Увидев, как я уношусь прочь со всей быстротой, с какой несли меня ноги (у меня было смутное ощущение, что кратчайший путь к пирамидам лежит за первым поворотом влево, а там вокруг таверны), сераль поднял крик, мисс Гриффин завопила как оглашенная, верный Визирь пустился за мной вдогонку, а мальчишка из лавки напротив бросился мне наперерез и отрезал путь к бегству. Когда же меня привели назад, никто не смеялся надо мной, а мисс Гриффин только и сказала с небывалой для нее кротостью — вот странно! И зачем я только пустился бежать, когда джентльмен поглядел на меня?

Если бы я уже отдышался и мог бы отвечать, я бы сказал, что у меня нет ответа; поскольку же я еще не отдышался, то и вовсе ничего не ответил. Мисс Гриффин и незнакомец поставили меня между собой и отвели назад во дворец в каком-то новом качестве, хотя и (как я с изумлением осознал) совсем не в качестве преступника.

Мы вошли в комнату, и мисс Гриффин тут же вызвала к себе свою неизменную помощницу, Месрура, Предводителя Чернокожих Стражей Гарема. Пошептавшись с нею о чем-то, Месрур принялся утирать слезы.

— Благослови вас Бог, миленький мой! — сказал сей офицер,

поворотясь ко мне, — С вашим папочкой очень плохо!

— Он болен? — спросил я с замирающим сердцем.

— Да смилуется над вами Господь, мой ягненочек! — произнес славный Месрур, опускаясь на колени, чтобы я мог припасть головой к дружескому плечу. — Ваш папа умер!

При этих словах Гарун аль-Рашид обратился в бегство, сераль исчез, и с того мгновения я никогда более не видел ни одной из восьми прекраснейших дочерей земли.

Меня забрали домой, где царила не только Смерть, но и Долги, и все пошло на распродажу. Некая неведомая мне сила, смутно называемая «Скупка», облила мою кроватку таким презрением, что пришлось положить туда еще и медную лопаточку для угля, вертел и птичью клетку, чтобы все вместе это создало «Лот», а потом он пошел с молотка за ломаный грош и старую песню. Я слышал, как об этом говорили, и все гадал, что же это за песня такая и до чего же, должно быть, грустно ее петь!

А потом меня послали в громадную, холодную, неласковую школу для взрослых мальчиков, где и еда, и одежды были тяжелые и скудные, и ни того, ни другого не хватало вдоволь; где все ученики, и большие, и маленькие, были грубы и жестоки; где мальчишки знали про распродажу абсолютно все задолго до того, как я туда поступил, и постоянно распрашивали меня, во сколько меня оценили и кто меня купил, и вопили мне: «Раз… два… три… продано!» Я никогда и никому даже шепотом не сообщал в этом гнусном месте, что некогда был Гаруном и владел сералем: ведь я знал, что если хотя бы упомяну об этом, то мне придется так худо, что уж лучше будет сразу броситься в грязный пруд возле площадки для игр, вода в котором напоминала на вид тухлое пиво.

Увы мне, увы! С тех пор, как я поселился в детской, друзья мои, ее не посещал никакой призрак, кроме призрака моего же собственного детства, призрака моей невинности, моей наивности. Много раз преследовал я этот призрак: но никогда мои широкие взрослые шаги не могли догнать его, мои большие взрослые руки не могли его коснуться, мое взрослое сердце не могло вновь ощутить всю былую его чистоту. И вот теперь вы сами видите, как я стараюсь идти по жизни бодро и радостно, насколько это удается мне, обреченному брить в зеркале постоянно меняющихся клиентов, а также ложиться и вставать со скелетом, назначенным мне в пожизненные спутники на этой земле.

Призрак садовой комнаты

Мой друг и поверенный задумчиво потер свое лысое чело — надо сказать, удивительно похожее на чело Шекспира — точь-в-точь, как потирает его в тех случаях, когда я обращаюсь к нему за профессиональным советом, и взял солидную щепотку табака.

— Мою спальню, — сообщил он, — посещал призрак Судьи.

— Судьи? — воскликнули мы все хором.

— Именно. В парике и мантии он сидит на Судейской Скамье во время сессии. Когда мы расходимся по комнатам на ночь и я присаживаюсь перед сном в удобное белое кресло у камелька, то порой вижу и слышу его. Я никогда не забуду рассказ, что поведал он мне, и я ни на миг не забывал его с тех пор, как впервые услышал.

— Значит вы уже видели и слышали этого судью раньше, мистер Андери? — спросила моя сестра.

— Частенько.

— То есть, он никак не связан с этим домом?

— Нет-нет. Он то и дело возвращается ко мне в часы праздности и досуга, и история его преследует меня неотступно.

Мы все как один тут же потребовали рассказать нам эту историю, чтобы в дальнейшем она могла преследовать также и нас.

— Он почерпнул ее из своего судебного опыта, — предупредил мой друг и поверенный, — и она выдержана в судейском духе.

Слова эти относились, разумеется, не к новой понюшке табака, которая их сопровождала, а к истории, которая за ними воспоследовала.

В самом начале нашего века на маленькой ферме в северном округе Йоркшира поселилась некая достойная чета по фамилии Хантройды. Они поженились уже на склоне лет, хотя и «начали водить дружбу» на заре юности. Натан Хантроид был батраком на ферме у отца Хестер Роуз и сделал ей предложение, однако родители ее в ту пору придерживались мнения, что она может сделать партию и получше. Поэтому, даже не спросившись дочери, они с высокомерием отвергли Натана. С горя молодой человек покинул родные края, порвав со всеми своими былыми связями, и вот когда ему уже перевалило за сорок, его дядя оставил ему небольшое наследство, которого хватило бы на то, чтобы обзавестись маленькой

фермой, да еще и положить остаток в банк на черный день. Одним из последствий этого завещания стало то, что Натан начал подыскивать себе жену и хозяйку — но занимался этим спустя рукава, покуда в один прекрасный день не услышал, что его старая любовь, Хестер, отнюдь не процветает в богатом замужестве, как он всегда полагал, а напротив, служит прислугой в городке Рипон. Отец ее обанкротился и попал на старости лет в работный дом, мать умерла, единственный брат в поте лица трудился, чтобы прокормить большую семью, а сама Хестер стала простой служанкой, простой и не слишком привлекательной (ей исполнилось уже тридцать семь). Услышав о подобном повороте колеса Фортуны, Натан испытал что-то вроде угрюмой радости (которая, к его чести, длилась на больше однойдвух минут). Впрочем, знакомому, который сообщил ему об этом, он не сказал ничего вразумительного, как не обмолвился об этом и никому другому. Но через несколько дней, одетый в свой лучший воскресный костюм, он постучался в дверь черного хода миссис Томпсон в Рипоне.

В ответ на добрый стук, какой только могла издать его добрая дубовая палка, на пороге появилась Хестер. На мгновение воцарилась тишина. Натан изучал лицо и фигуру своей первой любви, которую не видел более двадцати лет. Былая миловидность юности совершенно покинула Хестер, и она стала, как я уже упомянул, не слишком привлекательной и простоватой на вид, зато по-прежнему обладала чистой кожей и ясными милыми глазами. Фигурка ее не была уже такой пухленькой как раньше, но ее аккуратно обтягивала бело-голубая сорочка, стянутая вокруг талии завязками премилого белого фартука, а короткая красная шерстяная юбка демонстрировала аккуратные ножки. Бывший ее возлюбленный не стал впадать в восторженный экстаз, а просто сказал себе: «Она подойдет» — и приступил прямиком к делу.

— Хестер, ты, кажись, меня не узнала. Я Натан. Твой отец вытурил меня, когда я посватался к тебе — на Михайлов день как раз двадцать лет тому минет. С тех пор я как-то и не задумывался о браке. Но дядя Бен умер и оставил мне кое-какие сбережения в банке, вот и я купил ферму Наб-энд, и чуточку скота, а теперь мне нужна хозяйка, чтоб за всем этим приглядывать. Хочешь? Я не хочу тебя обманывать. Земли все больше пастбищные, можно было бы и пахать, но пока мне не хватает деньжат на лошадей. Вот и все. Если согласна выйти за меня, я приеду за тобой, едва уберу сено.

— Проходи, садись, — только и молвила Хестер в ответ.

Он вошел и сел. Некоторое время Хестер хлопотала вокруг, готовя

обед для хозяев и обращая на Натана не больше внимания, чем на его палку. Он же наблюдал за ее быстрыми ловкими движениями, повторяя про себя: «Она подойдет». Минут через двадцать он поднялся со словами:

— Что ж, Хестер, я пойду. Когда зайти снова?

— Поступай как тебе нравится, да и я в обиде не останусь, — произнесла Хестер, стараясь говорить легко и непринужденно, но Натан видел, как краска залила ее лицо и тут же схлынула вновь, а сама она задрожала и отвернулась. В следующий же миг он звучно чмокнул ее. Хестер хотела уже возмутиться и отчитать невежу-фермера, но он казался столь серьезным, что она заколебалась, а Натан сказал:

— Я поступил, как мне нравилось, да и ты, сдается мне, в обиде не осталась. Тебе платят помесячно и ты должна предупреждать об уходе за месяц, да? Сегодня восьмое. Восьмого июля мы поженимся. Мне некогда долго ухаживать, да и свадьба много времени не займет. В нашем возрасте выбросить на ветер два дня — и то уже роскошь.

Все происшедшее показалось Хестер дивным сном, но она решила не думать об этом, покуда не покончит со всей работой на день. А вечером, когда все было вымыто и начищено, она пошла к своей хозяйке и предупредила об уходе, в нескольких словах рассказав всю историю своей жизни. А ровно месяц спустя, день в день, Хестер Роуз была выдана замуж из дома миссис Томпсон.

Плодом этого союза стал единственный сын, Бенджамин. Через несколько лет после его рождения брат Хестер умер в Лидсе, оставив сиротами десять или двенадцать ребятишек. Хестер горько оплакивала эту потерю, и Натан тихо сочувствовал ей в ее горе, хотя и не мог не вспомнить, сколькими оскорблениями осыпал его Джек Роуз в былые года. Натан проявил себя безупречным мужем. Он отвез жену к поезду на Лидс; он успокоил ее тревоги по поводу домашних дел, мысли о которых начали осаждать ее, едва все было готово к отъезду; он щедро набил ее кошелек, чтобы она могла обеспечить все самые насущные нужды осиротевшей семьи. А когда поезд уже тронулся, он бежал за вагоном.

— Стой! Стой! — кричал он. — Хетти, если захочешь… если это не будет тебе в тягость… привози с собой какую-нибудь из джековых девочек. У нас ведь на всех хватит и еще останется, а всякий скажет, с девочкой в доме как-то веселее.

Поезд катил все дальше, а сердце Хестер переполняла молчаливая признательность своему мужу и безграничная благодарность Господу.

Вот так и вышло, что малютка Бесси Роуз поселилась на ферме Наб-энд.

Известно, что добродетель находит награду в себе самой, а в данном случае награда эта была поразительно видимой и реальной — однако не стоит обманываться, полагая, будто награда добродетели всегда только такой и бывает. Бесси выросла милой, ласковой и живой девочкой, ежедневным утешением дяде и тете. Они так сильно полюбили ее, что даже сочли достойной парой своему сыну, Бенджамину, который был в их глазах самим совершенством. Нечасто случается, чтобы у простых, заурядных родителей родилось дитя необычной красоты, и Бенджамин Хантройд был одним из подобных редкостных исключений. Проведший всю жизнь в трудах и лишениях, наложивших на него неизгладимый отпечаток, фермер и его жена, которую и в лучшие годы нельзя было назвать больше, чем просто хорошенькой, явили на свет сына, что красотой и изяществом напоминал скорее наследника графского рода. Даже соседские сквайры-охотники, когда он отворял им ворота, придерживали резвых скакунов и превозносили пригожего мальчугана на все лады. А тот совсем не стеснялся похвал — он с младенчества привык к всеобщему восхищению всех вокруг и безграничному обожанию родителей. Что же до Бесси Роуз, то с тех самых пор, как она впервые увидела его, он безраздельно царил в ее сердце. И чем старше он становился, тем сильнее она любила его, убеждая себя, что ее святой долг — любить того, кто так дорог сердцам ее дяди и тети. И подмечая каждый невольный знак невинной любви девочки к кузену, его родители улыбались и подмигивали друг другу: все шло именно так, как им и хотелось, и нечего было далеко ходить за подходящей женой их Бенджамину. Все в доме будет идти своим чередом, Натан и Хестер проведут остаток дней своих в тепле и покое, окруженные любовью и заботой дорогих их деток, а те со временем подарят им новых дорогих деток, которых они тоже будут безмерно любить.

Однако же сам Бенджамин относился ко всем этим планам весьма прохладно. Его послали в школу для приходящих учеников в соседнем городке — среднюю классическую школу, пребывавшую в том же глубочайшем небрежении, что и большинство подобных школ тридцать лет назад. Ни мать, ни отец Бенджамина почти ничего не смыслили в ученье. Все, что они знали (и что определило их выбор школы) — это то, что (во-первых) им не хотелось, буде на то есть хоть малейшая возможность, разлучаться со своим дорогим мальчиком и отсылать его в пансион; и что (во-вторых) его надо хоть чему-то учить, и что (в-третьих) сын сквайра Полларда посещал ту же Классическую Школу Хайминстера. И вправду, сын сквайра Полларда ходил в эту школу, как ходили туда и много прочих сыновей, обреченных в будущем приносить отцам лишь сердечную боль.

Когда бы сия колыбель знаний не была бы столь безнадежно плоха, простодушный фермер и его жена, верно, поняли бы это куда как скорее. Но в той школе дети не только не учились ничему хорошему — они учились обманывать. Естественно, Бенджамин был слишком смышлен, чтобы не сделаться полнейшим разгильдяем, а если бы даже ему того и не хотелось, то в Хайминстерской Классической Школе не нашлось бы ровным счетом ничего, способного увлечь его мысли в другое русло. Однако на первый взгляд он становился все умнее и благовоспитаннее, все больше походил на прирожденного джентльмена. Когда он приезжал домой на каникулы, отец и мать гордились его изяществом и хорошими манерами, принимая их за доказательства его утонченности, хотя на деле утонченность эта вылилась в презрение к родителям за их простоватость и необразованность. К тому времени, как ему стукнуло восемнадцать — и он был отдан в учение клерком в адвокатскую контору в Хайминстере, поскольку наотрез отказался стать «неотесанным пахарем», как называл работящих честных фермеров вроде своего отца — лишь одна Бесси Роуз во всем доме была им недовольна. Четырнадцатилетняя девочка инстинктивно чувствовала, что с парнем что-то неладно. Увы! Прошло каких-то два года — и шестнадцатилетняя девушка боготворила саму его тень и не могла даже представить, что с таким сладкоречивым, красивым и добрым молодым человеком, как кузен Бенджамин, может быть что-то неладное. Ибо Бенджамин обнаружил, что легчайший способ умасливать родителей и вытрясать из них денежки на любые свои прихоти — это изображать полное согласие с их невинным замыслом и притворяться влюбленным в хорошенькую кузину Бесси. Тем более, что она ему вполне нравилась, отчего эта обязанность была отнюдь не такой уж неприятной. Но в те часы, что юный клерк проводил вдали от дома, он не считал нужным помнить о ее робких правах на него и напрочь выбрасывал девушку из головы. Письма, которые он обещал писать ей на неделе, пустячковые поручения, которые она просила исполнить — все это, по его мнению, не стоило его драгоценного внимания. И даже когда он был с Бесси, то ужасно злился, ежели она смела расспрашивать его, как он проводит время или с какими женщинами водит знакомство в Хайминстере.

Когда же ученичеству настал конец, Бенджамин замыслил ни много, ни мало, как на пару лет отправиться в Лондон — ничто другое его не устраивало. Бедный фермер Хантройд начал уже горько сожалеть о своих честолюбивых чаяниях вырастить сына Бенджамина джентльменом. Но теперь поздно было пенять на себя. И мать, и отец понимали это и потому

не возроптали и ни словом не возразили, когда сын впервые заговорил об отъезде. Но Бесси сквозь слезы заметила, что тем вечером ее дядя и тетя казались необычно утомленными и долго сидели рука-в-руке у камелька, праздно глядя на яркие языки пламени, точно видя среди них картинки того будущего, какое раньше рисовали себе в мечтах. Бесси сновала вокруг, убирая со стола и гораздо больше обычного гремя посудой — словно шум и суета могли помочь ей сдержать рыдания — и, бросив один зоркий взгляд на Натана и Хестер, старалась больше не смотреть в их сторону, боясь, как бы при виде их опечаленных лиц у самой нее не хлынули бы слезы из глаз.

— Присядь, девочка, присядь. Придвинь табуретку к камину и давай-ка потолкуем о планах нашего мальчика, — наконец промолвил Натан, выходя из своего забытья. Бесси присела к огню и, набросив на лицо передник, склонила голову на руки. Глядя на своих женщин Натан видел, что вот-вот не одна, так другая разразится слезами, и поспешил заговорить, надеясь предотвратить приступ горя.

— Тебе уже приходилось слышать об этом безумии, Бесси?

— Нет, ни разу! — приглушенно донеслось из-под передника. Хестер показалось, будто в тоне вопроса и ответа звучало порицание, и материнское сердце не могло этого вынести.

— Надо нам было раньше думать, мы ведь сами его к тому подталкивали. Все к тому и шло. Эти вечные экзамены, катехизисы, все-то надо сдать. Ясно, ему лучше поехать для этого в Лондон. Это не его вина.

— А кто говорит, будто его? — едва не вспылил Натан. — Но коли уж на то пошло, так наш адвокат Лоусон говорит, что ему хватило бы и пары недель, чтобы все свалить с плеч и сделаться законником не хуже прочих. Нет-нет, парнишку самого тянет в Лондон, вот он и хочет прожить там год, а то и два.

— Ну а если и так, — вмешалась Бесси, стянув передник с раскрасневшего лица и распухших глаз, — тут нет ничего дурного. Парни, они ведь не то, что девушки, их ведь к подолу не пришьешь и дома не удержишь. Молодому человеку в самый раз белый свет поглядеть и себя показать, прежде чем остепениться.

Рука Хестер нащупала руку Бесси и благодарно пожала ее. Обе они были готовы до последнего защищать их отсутствующего любимца от любой хулы. Натан только и сказал:

— Да ладно тебе, девочка, не кипятись так. Что сделано, то сделано, а хуже всего, что сам я это и затеял. Нечего мне было растить парнишку барином. А теперь самим и расплачиваться.

— Дядя, милый дядя, ручаюсь, он не будет тратить слишком много! А

я уж как-нибудь сумею подсократить наши расходы по хозяйству.

— Девочка! — торжественно произнес Натан. — Я ведь не о деньгах говорю. Нам приходится расплачиваться не монетой, а тяжестью на сердце и тревогой в душе. Лондон — это такое место, где правит не только король Георг, но и сам дьявол. Мой бедный сынок и тут-то едва не попал к нему в лапы, а уж что будет, когда он сам полезет ему в пасть, и подумать-то страшно.

— Не отпускай его, отец! — взмолилась Хестер, которой впервые открылся такой взгляд на вещи. До сих пор она успела подумать единственно о своем горе от разлуки с ненаглядным сыночком. — Отец, коли ты так считаешь, придержи его дома, у нас на глазах, так оно вернее будет.

— Нет! — возразил Натан. — Он уже вырос. Подумай, ведь мы даже и сейчас не знаем, где он и чем он занимается, а еще и часа не прошло, как он нас покинул. Нет, матушка, он уже слишком большой мальчик, чтобы его можно было усадить обратно в люльку или удержать дома, положив поперек крыльца стул вверх ножками.

— Как бы мне хотелось, чтобы он так и оставался младенцем у меня на руках! Горек, ох как горек был день, когда я отняла его от груди, и мне кажется, что с каждым его новым шагом к совершеннолетию дни мои становились все горьче и горьче.

— Ну-ну, родная моя, не дело так говорить. Благодари Провидение, подарившее тебе такого большого сына, ростом аж в пять футов одиннадцать дюймов, и такого здорового, что он даже ни разу не болел. Не пристало нам осуждать его за легкомыслие, правда, Бесси, крошка? Он вернется через год или чуть больше и мирно заживет в тихом городке с милой женушкой, которая сейчас сидит не так уж далеко от меня. А как мы состаримся, то продадим ферму и купим домик рядом с домом адвоката Бенджамина.

Так добрый Натан, хотя у самого него было тяжело на душе, старался успокоить своих женщин. Но из всех троих именно он дольше всех не засыпал в ту ночь, и дурные предчувствия терзали его куда сильней, чем их.

— Боюсь, я неверно обращался с мальчиком. Боюсь, я не так воспитывал его, — вот какие мысли не давали ему уснуть до рассвета. — С ним что-то не так, иначе все кругом не смотрели бы на меня с такой жалостью, едва лишь разговор заходит о нем. Я-то понимаю, что это значит, но гордость не дает спросить. И адвокат Лоусон тоже все больше отмалчивается, когда я справляюсь у него, как там дела у моего паренька и

хороший ли выйдет из него законник. Смилуйся Господь, над Хестер и надо мной, если наш сын сбился с пути! Смилуйся, Всевышний! Но может, это просто бессонница навевает на меня всякие страхи. В его возрасте я тоже мог просадить все деньги, что только попадали мне в руки. Но я сам зарабатывал их, а это совсем иное дело. Что ж! В наши лета тяжело воспитывать дитя, а мы слишком медлили с тем, чтобы им обзаводиться!

На следующее утро Натан оседлал кобылу Могги и отправился в Хайминстер повидаться с мистером Лоусоном. Любого, кто видел бы, как он выезжал со двора и как вернулся, поразила бы произошедшая с ним перемена — перемена, столь сильная, что ее нельзя было объяснить просто усталостью, естественной для человека в его возрасте после слишком тяжелого дня. Он едва держал поводья в руках, так что Могги могла бы одним рывком вырвать их. Склонив голову на грудь, он долгим немигающим взглядом смотрел на что-то, видимое ему одному. Однако подъезжая к дому, Натан попытался собраться с силами.

— Не стоит их пугать, — сказал он. — Мальчики есть мальчики. Но как он ни молод, вот уж не думал я, что он так бестолков. Что ж, глядишь, Лондон прибавит ему ума. Да и в любом случае, лучше поскорее отослать его подальше от таких дурных парней, как Уилл Хокер и его дружки. Это они сбивают моего сына с толку. Он был славным мальчиком, покуда не свел знакомства с ними, ей-ей, таким славным мальчиком.

Но подходя к дому, где уже ждали его Бесси и жена, он постарался на время забыть о тревогах. Обе женщины тянули руки, чтобы помочь ему снять куртку, но Натан отстранил их.

— Полегче, девочки, полегче! Неужели человек уже и выпутаться из одежки не в силах без посторонней помощи? Я чуть не зашиб тебя, малышка, — и он продолжал болтать, стараясь хоть на время удержать их от расспросов о том, что занимало сердца всех троих. Но тяни — не тяни, вечно оттягивать невозможно, и жене неустанными расспросами удалось вытянуть из него куда больше, чем он сперва собирался рассказать, и более, чем достаточно, чтобы горько опечалить обеих слушательниц — но все же самое худшее славный старик схоронил в глубине души.

На следующий день Бенджамин приехал домой, чтобы провести там неделю-другую прежде, чем пуститься в свой великий поход в Лондон. Отец его держался с ним отчужденно, важно и печально. Бесси же, которая сперва всячески выказывала свой гнев и наговорила Бенджамину немало резких слов, постепенно начала даже обижаться на дядю. Ну зачем он так долго упорствует и все еще суров с сыном? Бенджамин ведь вот-вот уедет. Что до ее тети, то она трепетно хлопотала вокруг комодов и ящиков для

белья, словно боялась хотя бы на миг задуматься о прошлом или будущем. Лишь раз или два, подойдя к сидящему у камина сыну, она внезапно склонялась над ним и целовала в щеку или гладила по голове. Впоследствии — много лет спустя — Бесси вспоминала, как в один из этих разов он с нервным раздражением отдернул голову и пробормотал — его мать не слышала этих слов, зато Бесси слышала:

— Неужели нельзя оставить человека в покое?

По отношению же к самой Бесси он держался с отменной учтивостью. Никакое другое слово не может так точно описать его манеру: не тепло, не нежно, не по-братски, но с претензиями на безукоризненную вежливость по отношению к ней как к привлекательной молодой особе. Но учтивость эта совершенно терялась во властной и грубоватой манере держаться с матерью или угрюмом молчании перед отцом. Пару раз он даже рискнул отпустить кузине комплимент по поводу ее внешности. Бесси замерла, изумленно глядя на него.

— С чего бы это тебе вдруг вздумалось заводить речь о моих глазах? Неужто они так изменились с тех пор, как ты последний раз видел их? Уж лучше бы помог матери найти оброненные спицы — ты, что, не замечаешь, что бедняжка плохо видит в потемках?

И все же Бесси вспоминала любезные слова кузена еще долго после того, как он о них и думать забыл, и все гадала, какие же на самом-то деле у нее глаза. Много дней после его отъезда она жадно вглядывалась в маленькое овальное зеркало, что обычно висело на стене ее крохотной комнатенки (но по такому поводу Бесси снимала его), придирчиво рассматривая глаза, которые он так нахваливал, и бормоча про себя: «Миленькие ласковые серые глазки! Хорошенькие серые глазки!» — пока наконец не вспыхивала, точно маков цвет, и со смехом не вешала зеркало обратно на стену.

В те дни, когда он собирался в какие-то неясные дали и неясное место — город под названием Лондон — Бесси старалась забыть все дурное в нем, все, что шло вразрез с тем, как, по ее мнению, примерному сыну подобало чтить и уважать своих родителей — и многое, ох как многое, приходилось ей забывать. Например, сколь презрительно он отверг домотканные и самошитые рубашки, над которыми с такой радостью трудились его матушка и сама Бесси. Правда, он мог не знать — нашептывала ей любовь — с каким тщанием прялись тонкие и ровные нити, как, отбелив пряжу на солнечном лугу и соткав ее, любящие женщины снова раскладывали полотно на душистой летней траве и оно ночь за ночью омывалось чистой росой. Он не знал — никто, кроме Бесси

не знал — сколько неуклюжих или неверных стежков, которые не могли распознать ослабевшие глаза его матери (невзирая на немощь, она упорно желала делать все самое главное сама) потом, по ночам, перешивала Бесси в своей комнате, проворными пальцами нанося новые стежки. Всего этого он не знал — иначе ни за что не стал бы пенять на грубую ткань и старомодный покрой этих сорочек, иначе ни за что не стал бы вымогать у старой матушки деньги, отложенные с продажи яиц и масла на покупку модного льна в Хайминстере.

Хорошо, однако, было для душевного спокойствия Бесси, когда эти жалкие сбережения Хестер вышли из своего хранилища — старого чайника — на белый свет, что девушка не знала, как часто и с каким трудом ее тетя, бывало, пересчитывала эти монеты, то и дело ошибаясь, путая гинеи с шиллингами, сбиваясь и начиная сызнова, так что редко насчитывала один и тот же итог. Но Бенджамин — этот единственный сын старой четы, эта надежда, эта любовь — имел еще некую странную, завораживающую власть над всеми домочадцами. Вечером накануне отъезда он сидел между родителями, держа их за руки, а Бесси притулилась на своей старенькой табуреточке, положив голову на тетины колени и время от времени поглядывая снизу на лицо кузена, точно всем сердцем вбирая в себя милые черты, пока взгляды их случайно не встречались — а тогда она лишь отводила глаза и вздыхала украдкой.

Тем вечером он допоздна засиделся со своим отцом, еще долго после того, как женщины разошлись по спальням. Да, по спальням, но не ко сну — ручаюсь вам, что седая мать ни на мгновение не сомкнула глаз, пока на улице не забрезжили первые лучи хмурого осеннего дня, а Бесси, лежа без сна, слышала, как тяжелые неторопливые шаги ее дяди поднимаются наверх, как он достает старый чулок, служивший ему банком, и отсчитывает оттуда золотые гинеи — на миг он остановился, но тут же продолжил счет, словно решив одарить сына по-царски. Еще одна длинная пауза, во время которой девушка смутно различала какие-то слова — совет ли, молитву ли, ибо голос принадлежал ее дяде — а затем мужчины отправились спать. Комнатка Бесси отделялась от спальни ее кузена лишь тоненькой деревянной перегородкой, и последним звуком, что различила она прежде, чем ее уставшие от плача глаза наконец сомкнулись — это мерное позвякивание гиней, точно Бенджамин играл отцовским подарком в расшибалочку.

Утром он уехал. Бесси до смерти хотелось, чтобы он попросил ее хоть немного проводить его по дороге до Хайминстера. Девушка проснулась ни свет ни заря, заранее сложила всю одежду на постели — но не могла пойти

с ним без приглашения.

Осиротевшие домочадцы старались держаться мужественно и с небывалым рвением погрузились в дневные труды, но почему-то, когда настал вечер, оказалось, что сделано ими совсем немного. Нелегко работать с тяжестью на душе, и кто скажет, сколько тревог, забот и печали унес каждый из них в поле, за прялку, в коровник. Прежде Бенджамина ждали домой каждую субботу, ждали, хотя он мог вовсе и не прийти, или же, если и приходил, то разговоры велись такие, что визит этот не был в радость. Но все равно он мог прийти и все могло быть хорошо, и тогда, на закате дня, как счастливы были эти простые люди. Но теперь он уехал, наступила унылая зима, зрение стариков все слабело и, как бы ни старалась Бесси весело щебетать, словно ни в чем не бывало, вечера на ферме стали долгими и безотрадными. Да и писать Бенджамин мог бы почаще — так думал каждый в доме, хотя, выскажи кто эту крамольную мысль вслух, двое остальных яростно ополчились бы на него.

— Ручаюсь! — с чувством сказала девушка, набрав по дороге из церкви букет первых подснежников, что проклюнулись на солнечных и защищенных от ветра склонах холмов, — ручаюсь, что никогда не будет больше такой отвратительной, унылой зимы, как нынешняя.

За последний год Натан и Хестер неузнаваемо переменились. Прошлой весной, когда Бенджамин еще подавал больше надежд, чем страхов, его отец и мать выглядели тем, что я мог бы назвать «крепкой пожилой парой» — четой, еще способной поработать на славу. Теперь же (и виной тому было не только отсутствие сына) оба они казались дряхлыми и слабыми, точно каждодневные заботы ложились на их плечи слишком тяжкой ношей. Ибо до ушей Натана долетели поистине горестные вести о его единственном сыне, и старик с сумрачной торжественностью пересказал их жене, особенно напирая на то, что все это слишком ужасно, чтобы в это поверить, и все же «Помоги нам Господь, если он и вправду такой дурной мальчик!» От бесчисленных слез глаза несчастных родителей иссохли и ввалились, и старики долго сидели бок о бок, вздыхая и дрожа и не смея даже взглянуть друг на друга, а потом Хестер сказала:

— Не надо ничего рассказывать девочке. Юные сердца так легко разбиваются, и она еще, чего доброго, вообразит, будто все это правда, — тут голос несчастной матери оборвался сдавленным рыданием, но она взяла себя в руки и продолжала более твердо: — Нет, не надо ничего говорить ей, он раньше ведь был так к ней привязан, и если она не перестанет хорошо о нем думать и любить его, быть может, ее молитвы еще выведут его на верный путь.

— Да услышит Господь твои слова! — откликнулся Натан.

— Господь услышит их, — страстно простонала Хестер и повторила эти заветные слова снова. Увы! Напрасные упования.

— Какое гадкое место этот Хайминстер, — произнесла она чуть позже, словно не в силах больше выносить молчания. — Нигде тебе не наболтают столько всяких глупостей. Хоть одно хорошо — Бесси ничего этого не слыхала, а мы хоть и слыхали, да не верим.

Но если они не верили слухам, то отчего же казались такими печальными и изнуренными, гораздо старше своих лет?

Прошел еще год, настала новая зима, еще тоскливее предыдущей. Однако весной вместе с подснежниками появился и Бенджамин — испорченный, легкомысленный юнец, сохранивший еще, однако, довольно былой привлекательности и развязно-непринужденных манер, чтобы пустить пыль в глаза тем, кому в новинку печать, которую Лондон накладывает на беспутных молодых людей из провинции.

В первый миг, когда он только появился на пороге чванливо-напыщенной походкой и с выражением небрежного безразличия — отчасти напускного, отчасти настоящего — его престарелые родители преисполнились благоговейного восторга, словно перед ними предстал не родной их сын, а самый настоящий джентльмен. Но безошибочный природный инстинкт очень скоро помог им распознать, что принц фальшивый.

— И что он только имел в виду, — сказала Хестер племяннице, едва они остались одни, — этими своим замашками? И слова он выговаривает так жеманно, словно ему подрезали язык, а не то и того хуже — трещит, как сорока. Охо-хо! Лондон портит человека не хуже августовской жары. Каким красавчиком он был, когда уезжал, а теперь-ка погляди только на него — вся кожа в складках и морщинках, точно первая страница прописей.

— А мне кажется, милая тетя, он выглядит куда краше с этими новомодными усиками! — заявила Бесси, заливаясь краской при воспоминании о поцелуе, что кузен подарил ей при встрече. Бедняжке чудилось, будто этот поцелуй служил залогом того, что Бенджамин, несмотря на долгое молчание, все еще видел в ней свою нареченную невесту. Многое в нем очень не понравилось его родителям и кузине, хотя они никогда не обсуждали этого между собой, но все же многое и пришлось по вкусу, более же всего — то, как мирно и тихо он проводил дни в Наб-энде, не гоняясь за обществом, куда так стремился раньше, когда пользовался всяким поводом, чтобы втихомолку удрать в соседний городок. А поскольку сразу же по отъезде Бенджамина в Лондон отец заплатил за

него все долги, о которых только сумел узнать, то значит, блудного сына держал дома отнюдь не страх перед кредиторами. А как-то поутру он даже отправился в поле бок о бок со своим престарелым отцом, и Натан обходил свои владения деловитой, хотя и нетвердой поступью, и все увиденное веселило его сердце, ибо он верил, что в сыне его наконец пробудился интерес к ферме. Бенджамин же терпеливо стоял возле отца, пока тот сравнивал своих крошечных галловеев с огромными шотгорнами[10], маячившими за соседской изгородью.

— Обычно продавцы молока ужасные неряхи. Не успеют надоить молоко, как уже разбавляют, а оно и без того жиже воды. Зато погляди-ка на масло, что делает Бесси — вот это мастерство! Она и сама молодчина, да и скотина у нас лучше некуда. Просто удовольствие заглянуть в ее корзинку, как она выходит на рынок; а что за радость глядеть на водянистую дрянь, какую дают те бедолаги? Сдается мне, они просто помесь коров с водопроводным насосом. Нет, наша Бесси славная девочка, экономная и проворная, не чета иным! Я иногда подумываю, может, когда вы поженитесь, тебе стоило бы забросить все эти законы и заняться торговлей!

Простодушный старик хотел этой хитроумной фразой выяснить, есть ли у него хоть малейшие основания надеяться на осуществление давнишней и самой заветной своей мечты — что Бенджамин оставит судебное поприще, вернется к простой жизни и пойдет по стопам отца. Казалось, что теперь этой надежде суждено сбыться, поскольку сын его не добился успехов в своей профессии — сам Бенджамин объяснял свой провал отсутствием полезных знакомств — тогда как дома его ждали ферма, коровы и умница-жена, а Натан мог твердо пообещать, что никогда, даже в самые трудные минуты не попрекнет сына той сотней, что досталась таким тяжелым трудом и была потрачена на его образование. Засим старик с болезненным интересом внимал, что же ответит Бенджамин. Тот явно хотел что-то сказать, но пребывал в замешательстве и прежде, чем заговорить, долго откашливался и шмыгал носом.

— Ну, видишь ли, отец, закон — это ненадежный источник дохода. У молодого дарования вроде меня просто нет никакого шанса на успех, покуда оно не станет известным — я имею в виду, судьям, стряпчим и всем прочим в суде. А у вас-то с матушкой, сами знаете, отродясь не водилось никаких таких знакомств. Однако мне посчастливилось встретить одного человека, можно сказать, друга, и он просто л первоклассный парень, знает всех от мала до велика, начиная от лорда-канцлера и кончая последним клерком. Вот он и предложил мне долю в его деле — одним словом, партнерство…

Тут Бенджамин замялся.

— Вот уж, видать, добрый и сердечный джентльмен, — откликнулся Натан. — Хотелось бы мне самому его поблагодарить. Мало кто подберет зеленого юнца, прям-таки из грязи и скажет ему: «Вот вам половина моего состояния, сэр, пользуйтесь на здоровьичко». Большинство наоборот, как сами отхватят себе кусок пожирнее, так вовсе ни с кем не делятся. Как же зовут этого доброго человека?

— Боюсь, отец, вы не совсем меня поняли. Конечно, по большей части, ваши слова — чистая правда, все до последней буквы. Люди и впрямь редко делятся своей удачей.

— Тем больше чести тому, кто делится, — вставил Натан.

— Ах, но видите ли, даже такой отличный парень, как мой друг Кавендиш не отдаст половину своей практики ни за что, ни про что. Он надеется получить возмещение.

— Возмещение, — повторил Натан. Голос его стал на октаву ниже. — И какое же? Я, хоть и не учился по книжкам, а все же всегда знал, что за всеми благородными словесами что-то да кроется.

— Ну, за все разом, то есть за то, чтобы принять меня партнером и потом оставить мне все дело, он запросил вознаграждение в триста фунтов.

Тут Бенджамин украдкой покосился на отца, чтобы выяснить, как тот воспримет это предложение. С размаху воткнув трость в землю, Натан оперся на нее и смерил сына взглядом.

— Знаешь что, можешь передать твоему достойному другу, пусть пойдет и повесится! Три сотни фунтов! Разрази меня гром, ежели я знаю, откуда их взять, даже если бы я был таким дураком, чтобы согласиться на этот грабеж!

И он задохнулся от негодования. Сын выслушал первые слова отца в угрюмом молчании — он ожидал этого взрыва и ничуть не страшился его.

— Думаю, сэр…

— Сэр? Какого черта ты называешь меня «сэр»? Это все твои светские замашки? Я просто Натан Хантройд и никогда не был джентльменом, зато честь по чести заплатил за все, что имею в этой жизни. Да-да, и продолжаю платить, хотя каково это мне, когда родное детище требует у меня триста фунтов, словно я корова какая-то, которую может доить первый встречный.

— Что ж, отец, — произнес Бенджамин в притворном порыве чувств, — тогда мне только и остается, что выполнить то, о чем я давненько подумываю — эмигрировать.

— Что? — переспросил отец, резко обернувшись к нему.

— Эмигрировать. Уеду себе в Америку или Индию, или еще какую-

нибудь колонию, где молодым энергичным парням всегда дорога открыта.

Бенджамин приберегал это предложение в качестве козырного туза, думая, что уж оно-то наверняка поможет ему добиться любой цели. Однако, к его изумлению, отец его рывком выдернул трость из глубокой выбоины, куда сам только что загнал ее в припадке гнева, и, сделав несколько шагов вперед, снова остановился в задумчивости. Несколько минут стояла гнетущая тишина.

— Быть может, это и вправду лучшее, что ты можешь сделать, — наконец промолвил старик. Бенджамин стиснул зубы, чтобы сдержать проклятие. Хорошо, что старый Натан не оглянулся в тот миг и не видел взгляда, которым наградил его сын. — Да вот только нам с Хестер будет тяжеловато это вынести. Каков бы ты ни был, ты все же наша плоть и кровь, наше единственное дитя, а если ты и не таков, каким тебе следовало бы быть, то, возможно, повинна в том наша же гордыня. Если он уедет в Америку, это убьет мою старушку, да и Бесс тоже, ведь девочка только о нем и думает.

Речь, первоначально предназначенная сыну, постепенно перетекла в беседу с самим собой, но тем не менее, Бенджамин так навострил уши, словно все это ему и говорилось. Натан умолк и, чуть поразмыслив, снова обратился к сыну.

— Этот твой парень — язык не поворачивается назвать его твоим другом, тоже мне выдумал, столько с тебя запросить — он один может помочь тебе начать свое дело? Возможно, другие сдерут с тебя меньше?

— Да нет, куда там, — покачал головой Бенджамин, сочтя этот вопрос за верный признак того, что отец начинает смягчаться.

— Что ж, тогда можешь сказать ему, что ни он, ни ты не дождетесь от меня трехсот фунтов. Не отрицаю, я и впрямь отложил самую малость на черный день, но куда как меньше, тем более, что часть этих денег пойдет для Бесси, ведь она нам заместо дочери.

— Но она и в самом деле станет вам дочерью в тот день, когда я вернусь домой и женюсь на ней, — возразил Бенджамин, привыкший даже сам с собой легко играть мыслями о женитьбе на Бесси. Рядом с ней, да еще когда она бывала особенно хорошенькой, он вел себя так, точно они и впрямь были влюблены и помолвлены; вдали же почитал ее скорее удобным средством снискать родительскую благосклонность. Словом, он не то, чтобы лгал, когда утверждал, что намерен жениться на ней, но при этом имел еще и заднюю мысль повлиять на отца.

— Для нас это будет тяжкий удар, — продолжил старик. — Но Господь хранит своих детей и, быть может, позаботится о нас лучше, чем сумеет

Бесси, бедняжка. Да и ее сердце отдано тебе. Но, мальчик, у меня нет трех сотен. Сам знаешь, я храню сбережения в старом чулке, покуда не дойдет до пятидесяти фунтов, а там уж отдаю их в Рипонский Банк. По последней бумажке, что они мне выдали, выходит ровно две сотни, а в чулке наскребется еще пятнадцать от силы. И ведь я предназначал сотню и теленка от рыжей коровы впридачу для Бесс, ей так нравится возиться с живностью.

Бенджамин кинул злобный взгляд на отца, проверяя, правду ли тот говорит, — и уже одно то, что сыну вздумалось подозревать в обмане почтенного старика, родного отца, достаточно говорит о собственном его характере.

— Нет, ничего не выйдет… столько денег мне не набрать… Хотя, не скрою, очень хотелось бы ускорить вашу свадьбу… Можно, конечно, еще продать черную телочку, она потянет фунтов на десять, но эти деньги понадобятся на покупку зерновой пшеницы, озимые-то у нас нынче не взошли. Ну да ладно, вот что я тебе скажу, мой мальчик! Давай сделаем, как будто бы ты одолжил у Бесс ее сотню, только непременно напиши ей расписку. Возьмем все разом из рипонского банка а там, авось, тот законник уступит тебе эту долю в деле не за триста фунтов, а за двести. Не хочу его хулить, но пусть уж он сполна тебе отдаст за эти денежки, они-то, поди, немалые. Никак я в толк не возьму, что с тобой — то мне кажется, ты и у младенца леденец обманом вытрясешь, то боюсь, как бы самого тебя не надули.

Чтобы объяснить это замечание, надобно сказать, что часть счетов, оставленных Бенджамином отцу, были хитроумно изменены таким образом, чтобы покрывать и некие иные издержки, мало достойные, которые, пожалуй, отец отказался бы оплачивать. Простодушный старик, сохранивший еще толику веры в единственное чадо, решил, что тот по неопытности изрядно переплатил за покупки.

Поломавшись для виду, Бенджамин наконец согласился принять хотя бы двести фунтов и пообещал извлечь из этой суммы все, что только можно, дабы преуспеть на избранном поприще. Но как ни странно, его неустанно глодало сожаление о тех пятнадцати фунтах, что остались в чулке «на развод». Они, считал он, по праву принадлежат ему, ведь он, в конце-то концов, единственный наследник отца. В тот вечер он даже порастерял обычную свою предупредительность по отношению к Бесси — вообразил по глупости, будто эти деньги отложены специально для нее и злился из-за одной только этой мысли. Об этих пятнадцати фунтах, что ему так и не достались, он думал куда как больше, нежели о тех двустах, что

отец его заработал таким тяжким трудом, так тщательно сберегал, а потом так безоглядно отдал ему. Натан же тем вечером пребывал в необычайно приподнятом настроении. Его щедрое и любящее сердце находило какое-то неосознанное удовлетворение в мысли, что, пожертвовав почти все свои сбережения, он помог двум дорогим ему людям обрести счастье. Сам факт, что он оказал Бенджамину столь великое доверие, словно бы делал Бенджамина в глазах отца более достойным этого самого доверия. Единственное, о чем Натан пытался не думать, так это о том, что ежели все пройдет согласно его чаяниям, то Бесси с Бенджамином поселятся вдали от Наб-энда, но он чисто по-детски утешал себя, что «авось, Господь Бог сумеет позаботиться о нем и его хозяйке. Нечего загадывать так далеко вперед».

В тот вечер Бесси пришлось выслушать от дядюшки множество невразумительных шуточек — тот не сомневался, что Бенджамин пересказал ей их разговор, тогда как, правду сказать, его сын не обмолвился об этом кузине ни единым словом.

Когда пожилая чета удалилась на покой, Натан поведал жене о данном сыну обещании и о той жизни, которую должны были обеспечить ему эти двести фунтов. Такая внезапная перемена и утрата сбережений, которые Хестер про себя с тайной гордостью называла «банковскими капиталами», сперва несколько напугала добрую старушку. Но и она, разумеется, была готова расстаться с ними ради Бенджамина. Однако ее приводило в недоумение — на что же может потребоваться такая огромная сумма. Впрочем, даже эта загадка померкла перед ошеломляющей новостью, что теперь не только «наш Бен» поселится в Лондоне, но и Бесси поедет туда, ставши ему женой. Забыв о потере денег, Хестер провздыхала всю ночь напролет. Утром же, пока Бесси замешивала тесто, ее тетя, вопреки своему обыкновению праздно присевшая у очага, вдруг сказала:

— Видать, придется нам теперь покупать хлеб в лавке. Вот уж никогда не думала, что доживу до такого. Бесси в удивлении подняла голову:

— Уж я-то ихней пресной гадости в рот не возьму. С какой это стати нам покупать хлеб у булочника, тетя? Вот увидите, мое тесто поднимется, как воздушный змей при южном ветре.

— Но я-то уже не смогу месить тесто, как месила в былые года — слишком уж спина болит. А когда ты уедешь в Лондон, тогда-то нам впервые в жизни и придется покупать хлеб.

— Вовсе я не уезжаю ни в какой Лондон, — заявила Бесси, с новой решимостью принимаясь за тесто и покраснев как рак — то ли от этой мысли, то ли от усилия.

— Но наш Бен станет партнером знаменитого лондонского адвоката, а тогда, будь уверена, не мешкая, заберет тебя с собой.

— Ну, тетя, — сказала Бесси, отряхивая с рук налипшее тесто, но все еще не поднимая глаз, — если дело в этом, можете не волноваться понапрасну. Бен еще двадцать раз передумает прежде, чем наконец-то остепенится или женится. Я сама иногда диву даюсь, — с неожиданным пылом добавила она, — и почему это до сих пор о нем думаю. Он-то ведь совсем обо мне и не вспоминает, едва я скроюсь из вида. Но ничего, я уже решила, что на этот раз постараюсь покрепче и сумею-таки выбросить его из головы.

— Стыдись, девочка! Он ведь все только о тебе и думает, только ради тебя и старается, не покладая рук. Да ведь не далее, как позавчера, он говорил с твоим дядей на эту самую тему и так ему прямо и сказал. Так что сама видишь, деточка, черный день настанет для нас, когда вы оба уедете.

И несчастная старая мать снова заплакала, горько и без слез, как плачут старухи. Бесси поспешила утешить ее, и долго еще они говорили, и горевали, и надеялись, и строили планы грядущих дней, пока наконец не завершили разговор — одна, смирившись, а вторая, пылая тайной радостью.

В тот вечер Натан и его сын вернулись из Хайминстера, уладив все формальности к полному удовольствию старика. Когда бы он счел необходимым потратить на то, чтобы удостовериться в подлинности правдоподобных деталей, которыми его сын уснастил историю о предлагаемом партнерстве, хотя бы половину тех хлопот и усилий, какие потратил на то, чтобы самым безопасным способом перевести деньги в Лондон, то подобная предусмотрительность пошла бы ему только на пользу. Но об этом он даже и не подумал, а вел дело так, как считал наилучшим. Вернулся домой он усталый, но довольный, и хотя не в столь радужном настроении, как накануне, но все же веселый, насколько вообще мог веселиться вечером перед отъездом сына. Бесси, счастливая и оживленная утренними заверениями тети, будто кузен на самом деле любит ее (мы ведь всегда верим тому, о чем давно мечтаем!) и планом, который должен был увенчаться их свадьбой — итак, Бесси казалась почти красавицей, так была она жизнерадостна и так прелестно заливалась румянцем, и не однажды за этот вечер, пока она сновала по кухне. Бенджамин притягивал ее к себе и целовал. Престарелая чета охотно закрывала глаза на эти шалости, и по мере того, как вечер подходил к концу, каждый становился все печальней и тише, думая о предстоящей поутру разлуке. И с каждым часом Бесси тоже все грустнела и все чаще

пускалась на всевозможные невинные уловки, лишь бы заставить Бенджамина присесть рядом с матерью, чье сердце, как видела девушка, жаждало этого больше всего на свете. Когда ее ненаглядное чадушко в очередной раз оказалось рядом и ей удалось завладеть его рукой, старушка принялась поглаживать ладонь сына, бормоча давно забытые ласковые словечки, что нашептывала ему, когда он был еще совсем маленьким. Но все это лишь утомляло его.

Пока он мог развлекаться, то дразня и изводя Бесси, то нежничая с ней, ему было не до сна, но теперь громко зевнул. Девушка сердито дернула Бенджамина за ухо. Почему это, спрашивается, он не сдержал зевок — во всяком случае мог бы хоть не зевать так открыто — едва ли не вызывающе. Но мать проявила к нему больше сочувствия.

— Ты устал, мой малыш! — сказала она, ласково гладя Бенджамина по плечу. Но сын резко поднялся, сбросив материнскую руку.

— Да, чертовски устал! Пойду спать, — и с этим, небрежно чмокнув в щеку всех по очереди, даже Бесси, словно он «чертовски устал» разыгрывать из себя пылкого влюбленного, удалился наверх. Трое оставшихся медленно собрались с мыслями и последовали его примеру.

На следующее утро он нетерпеливо подгонял их поскорее встать и распрощаться с ним, а сам только и сказал напоследок, что:

— Ну ладно, старичье, надеюсь, в нашу следующую встречу лица у вас будут повеселее, чем нынче. Да вы что, на похороны собрались? Одного этого хватит, чтобы бежать отсюда со всех ног. А ты-то, Бесси, просто глядеть страшно, не то что вчера.

Он ушел, а они вернулись в дом и принялись за тяжелую ежедневную работу, стараясь даже меж собой на говорить об постигшей их утрате. Да и то сказать, им было некогда и словом перемолвиться, поскольку за время мимолетного визита Бенджамина многие дела по хозяйству были отложены на потом, а теперь приходилось работать вдвое, чтобы наверстать упущенное. Тяжелый труд служил осиротевшей семье единственным утешением в течение многих дней.

Сперва письма Бенджамина, пусть и нечастые, изобиловали подробными описаниями его успеха. Правда, детали этого процветания оставались какими-то смутными, но сам факт декламировался широко и недвусмысленно. Затем наступила долгая пауза. Письма сделались короче, тон их изменился. Примерно через год после отъезда сына Натан получил от него письмо, крайне озадачившее и даже рассердившее старика. Что-то было неладно — Бенджамин не писал, что именно, но кончалось письмо просьбой, точнее даже не просьбой, а требованием, выслать ему все

оставшиеся сбережения, будь то из банка или из чулка. Как назло, год выдался для Натана неудачным, среди скота разразилась эпидемия и Хантройды вместе с соседями потерпели немалые убытки, а вдобавок цены на коров, которых пришлось покупать, чтобы возместить потерю, взлетели так, как Натану на его веку помнить не приходилось. От былых пятнадцати фунтов осталось не более трех — и надо же было требовать их столь бесстыдно! Не рассказав об этом письме ни единой живой душе (Бесси с тетей уехали на ярмарку на соседской телеге), Натан вооружился пером, чернилами и бумагой и отписал в ответ неграмотный, зато весьма суровый и категоричный отказ. Бенджамин уже получил свою долю, и коли не сумел толком распорядиться ею — тем хуже для него, а от отца он больше ничего не получит. Таково было это письмо.

Оно было написано, подписано, запечатано и вручено деревенскому почтальону, возвращавшемуся в Хайминстер после дневной разноски и сбора писем, задолго до возвращения с ярмарки Хестер и Бесси. Они же провели день на редкость приятно, в веселой и дружеской болтовне с соседями. Выручка оказалась недурна, и женщины вернулись в самом хорошем настроении и, хотя слегка подустали, зато привезли кучу новостей. Не сразу заметили они, как безответно внимает их пересудам остававшийся на ферме домосед. Но поняв наконец, что уныние старика вызвано не какими-либо мелкими домашними неприятностями, а чем-то посерьезнее, Хестер и Бесси заставили его поведать им, в чем дело. Гнев Натана не угас со временем, а напротив, лишь разгорелся сильнее, засим фермер не стал ничего таить и задолго до того, как рассказ его подошел к концу, обе женщины были столь же огорчены, если и не разгневаны, как и он сам. Много дней обитатели маленькой фермы не могли оправиться от этого потрясения. Первой успокоилась Бесси, ибо нашла выход своей скорби в действии — действии, которое отчасти было возмещением за все те колкости, что она наговорила своему кузену в прошлый его визит, когда была недовольна его поведением, а отчасти объяснялось твердой верой Бесси, что Бенджамин ни за что не написал бы отцу подобного письма, если бы деньги и вправду не требовались ему позарез. Хотя на что ему могли снова потребоваться деньги, когда так недавно ему дали такую уйму, она даже вообразить не могла. С самого детства Бесси откладывала всю перепадавшую ей мелочь, все подаренные шестипенсовики и шиллинги, все деньги, вырученные за продажу яиц от двух несушек, считавшимися ее собственными. Теперь капиталы ее составляли около двух фунтов — если быть совсем точным, то два фунта, пять шиллингов и семь пенсов — и вот, отложив один пенни как залог будущих накоплений, она упаковала остаток

в маленькую посылочку и отправила ее по адресу Бенджамина в Лондон, сопроводив запиской:

> «От доброжелателя.
>
> Доктор Бенджамин! Дядя потерял двух коров и кучу денег. Он ужасть как поиздержался, но еще хуже тревожится. Так что покуда больше не выйдет. Надеюсь, вам будет так же в радость получить это, как и нам было послать. На дорогую память. Отдача не облизательна.
>
> Ваша привязчивая кузина Элизабет Роуз».

Едва посылка была благополучно отправлена, как Бесси снова повеселела и принялась распевать за работой. Она не ждала никакого уведомления о доставке и питала такое без/раничное доверие к честности почтальона (носившего посылки в Йорк, откуда их пересылали в Лондон дилижансом), что не сомневалась, что он отвозил бы в Лондон доверенные ему ценности каждый раз самолично, когда бы не полагался на полнейшую надежность всех до единого людей, лошадей и экипажей, коим эти ценности передоверял. Засим она нимало не тревожилась, что не заверена в получении. «Всякий знает», — сказала она себе, — «одно дело давать что-нибудь кому-нибудь из рук в руки, а другое — совать в щелку на каком-то ящике, куда и заглянуть-то не заглянешь. Но письма-то как-то да доходят». (Этой вере в непогрешимость почты было суждено в самом скором времени перенести ужасное потрясение). Однако в глубине души девушка мечтала дождаться от Бенджамина благодарности и прежних слов любви, по которым она уже так истосковалась. Нет, по мере того, как проходили день за днем, неделя за неделей без единой весточки, она даже начинала подумывать, что он, в общем-то, мог бы бросить все свои дела в этом несносном, противном Лондоне и приехать поблагодарить ее лично.

Однажды — тетя была на чердаке, проверяя, много ли сыров заготовлено за лето, а дядя трудился в поле — почтальон принес Бесси в кухню письмо. Даже и в наши дни деревенские почтальоны не страдают нехваткой свободного времени, а тогда писем было и вовсе мало, так что почту возили из Хайминстера всего раз в неделю, и при подобных обстоятельствах визит почтальона к получателям растягивался едва ли не на целое утро. И вот, присев на краешек буфета, он начал неторопливо рыться в сумке.

— Скверное письмецо принес я Натану на этот раз. Боюсь, там дурные вести, ведь на коверте-то штамп «Не востребовано».

— Сохрани Господь! — ахнула Бесси, побледнев, как полотно, и опускаясь на первый попавшийся стул. Однако в следующий же миг она вскочила и, вырвав зловещее письмо из рук почтальона, поспешно вытолкала его из кухни, приговаривая:

— Уходите, уходите, покуда тетя не спустилась. И, промчавшись мимо него, она что было силы побежала на поле, где надеялась найти дядю.

— Дядя, — задыхаясь, выпалила она. — Что это? О дядя, скажите! Он умер?

Руки Натана тряслись, в глазах мутилось.

— Прочти-ка, — велел он племяннице, — и скажи, что там написано.

— Это письмо… от вас Бенджамину… и тут напечатано «Адресат неизвестен. Отправлено обратно отправителю!» — то есть вам, дядя. Ох, как я сперва испугалась, ведь на конверте написаны такие страшные вещи.

Натан взял у нее письмо и начал вертеть в руках, силясь подслеповатыми глазами разобрать то, что востроглазая Бесси углядела в один миг. Однако сделал из письма другой вывод.

— Он мертв? — пробормотал старик. — Мальчик умер и так никогда и не узнает, как я раскаиваюсь, что написал ему так резко. Мой мальчик! Мой мальчик!

Ноги его подкосились, Натан где стоял, там и осел на землю и закрыл лицо старыми морщинистыми руками. Вернувшееся к нему письмо было написано с безграничной болью, сочинял он его долго и урывками, чтобы куда пространнее, чем в первом письме, и куда как ласковее объяснить своему чаду, отчего не может выслать ему требуемые деньги. А теперь Бенджамин был мертв — более того, старик тут же решил, что его дитя умерло с голоду, без помощи и без денег в этом ужасном, диком и странном месте.

— Ох, сердце, Бесс… сердце мое разбито! — только и смог выговорить старик, прижимая руку к груди и закрывая второй рукой глаза, словно не желал больше никогда видеть света дня. В тот же миг Бесси бросилась возле него на колени, обнимая, поглаживая и целуя старого дядю.

— Дядя, милый, все не так плохо. Он не умер. В письме ничего такого нет, даже не думайте. Он просто взял и переехал, а эти ленивые разгильдяи не знали, где его искать, вот и послали письмо обратно, вместо того, чтобы походить по домам и поспрашивать, как поступил бы на их месте Марк Бенсон. Да я сама слышала столько рассказов про то, как ленив народ на юге, все и не упомнишь. Он не умер, дядя. Он просто переехал и очень скоро сообщит нам, куда. Может, на более дешевую квартиру, ведь тот

стряпчий надул его, а вы денег не выслали, вот ему и приходится потуже подтянуть пояс. Вот и все, дядя. Не убивайтесь так, тут ведь не сказано, что он умер.

Бесси уже сама от волнения не могла сдержать слез, хотя твердо верила в правильность своего толкования дела и надпись на письме ее скорее обрадовала, чем огорчила. Поэтому она на все лады уговаривала дядю не сидеть больше на сырой траве и изо все сил тянула его вставать, тогда как он весь закоченел и, по его собственному выражению, «трясся, как осиновый листок». Бесси с трудом удалось поднять его и увести, беспрестанно повторяя одни и те же слова, одно и тоже объяснение: «Он не умер, он просто переехал» и так далее, по кругу. Натан качал головой и старался убедить себя в ее правоте, но в глубине сердца твердо верил в совсем иное. Когда они с Бесси вернулись домой (ибо девушка не позволила ему сегодня работать), старик выглядел так плохо, что жена его решила, будто он простудился и уложила в кровать, куда он, утомленный и равнодушный к жизни, охотно отправился, потому что и в самом деле заболел, но не от простуды, а от нервного потрясения. С тех пор ни он, ни Бесси не заговаривали о злополучном письме, даже между собой, и Бесси нашла способ придержать болтливый язык Марка Бенсона и внушить ему свой, радужный, взгляд на это происшествие.

Проведя в постели неделю, Натан наконец поднялся на ноги, постарев на добрый десяток лет. Жена постоянно отчитывала его за то, что он так неосмотрительно сидел на мокрой траве, пусть даже и очень устал. Но и она начала уже тревожиться из-за затянувшегося молчания Бенджамина. Сама она не умела писать, но много раз уговаривала мужа послать письмо и узнать, как там дела у ее сыночка, и наконец он пообещал ей, что напишет в следующее же воскресенье. Он всегда писал письма по воскресеньям, а в то воскресенье собирался в первый раз после болезни отправиться в церковь. В субботу же он, вопреки настояниям жены (равно как и Бесси), вознамерился сам съездить на рынок в Хайминстер. Это развлечение, пояснил он, пойдет ему на пользу. Однако вернулся он с рынка очень усталый и какой-то загадочный, а вечером попросил Бесси пойти с ним в коровник, чтобы подержать фонарь, пока он будет осматривать заболевшую корову. Когда же они отошли настолько, что из дома их уже слышно не было, Натан вытащил маленький сверточек и сказал:

— Ты ведь обвяжешь этим мою воскресную шляпу, девочка? Так мне будет чуток полегче. Я-то знаю, что мой сынок умер, хотя и молчу об этом, чтобы не расстраивать мою старушку и тебя.

— Конечно, обвяжу, дядя… Но он не умер.

(Бесси всхлипывала.)

— Знаю, знаю, малышка. Я вовсе не хочу, чтобы все со мной соглашались. Но мне хотелось бы надеть немножко крепа, почтить память мальчика. Я бы заказал черный сюртук, но она, бедная моя старушечка, даром что помаленьку слепнет, а все ж заметит, если в воскресенье я не одену парадный свадебный пиджак. Но полоску крепа она не углядит. Ты просто прицепи ее куда нужно, потихонечку.

Засим Натан отправился в церковь с такой узенькой полоской крепа вокруг шляпы, как только удалось выкроить Бесси. И таковы странности человеческой натуры, что, хотя старик фермер превыше всего беспокоился, как бы жена не заподозрила, что он считает, будто их сын умер, но в то же время едва ли не обиделся, что никто из соседей не заметил его траура и не спросил, по кому он его носит.

Но время шло, от Бенджамина не было ни словечка, и тревога его родных достигла такой степени, что Натан не смог больше таить свой секрет. Однако несчастная Хестер отвергла его домыслы — отвергла всей душой, всем сердцем, всей волей. Она не верит, она никогда не поверит — ничто не заставит ее поверить — будто ее единственный сыночек, ее Бенджамин, умер, не послав ей прощального знака любви. Никакие уговоры не могли ее убедить. Она верила, что даже если бы все естественные способы сообщения между ней и ее сыном были бы невозможны в этот последний, трагический момент — скажем, если бы смерть подкралась к нему внезапно, быстро и неожиданно — то все равно ее глубочайшая любовь каким-то непостижимым образом помогла бы ей узнать о потере; Порою Натан пытался радоваться тому, что у жены еще остается надежда увидеть сына живым; но в иные минуты ему хотелось, чтобы она посочувствовала его горю, его терзаниям и угрызениям совести, его долгим и мучительным раздумьям, какую ошибку до* пустили они в воспитании сына, что он принес родителям столько огорчений и тревог. Бесси же принимала то сторону дяди, то сторону тети. Бедняжка каждый раз самым честным образом проникалась их доводами — и посему могла посочувствовать обоим. Но она в считанные месяцы утратила всю свою молодость и стала выглядеть женщиной средних лет задолго до того, как этих лет достигла. Улыбалась она редко и больше не пела.

Этот удар так подкосил всю семью, что на ферме произошли немалые перемены. Натан больше не мог, как бывало, и сам упорно трудиться, и руководить своими двумя помощниками. Хестер потеряла всякий интерес к сыродельне и маслобойне — тем более, что видела с каждым днем все хуже и хуже и уже не справлялась со всем этим хозяйством. Бесси приходилось в

одиночку управляться и на поле, и в коровнике, и в маслобойне и сыродельне. Она успевала повсюду — без прежней веселости, зато с какой-то упорной одержимостью, но, сказать правду, ничуть не опечалилась, когда однажды вечером дядя сообщил ей и ее тете, что соседский фермер, Джоб Киркби, предложил Хантройдам продать все земли Наб-энда, кроме только одного пастбища, достаточного, чтобы прокормить двух коров. При этом фермер Киркби отнюдь не собирался вмешиваться в домашние дела и домашнее хозяйство Хантройдов, но был бы рад воспользоваться кое-какими сараями для того, чтобы держать там часть скота.

— Право, с нас вполне хватит Маргаритки и Пеструшки — они будут давать нам по восемь-десять фунтов масла, чтобы летом продавать на рынке. И забот у нас будет куда меньше, чем я боялся, когда представлял себе старость.

— Ага, — согласилась его жена. — А ежели тебе только и останется присматривать, что за пастбищем Астер-Тофт, то тебе не надо будет уходить так далеко в поле. А Бесс будет изготовлять свой знаменитый сыр на продажу, и еще мы попробуем делать сливочное масло. Давно об этом мечтала. Там, откуда я родом, на сывороточное масло никто даже и не глядел.

Оставшись же наедине с Бесси, Хестер высказалась по поводу этой перемены так:

— До чего же я благодарна Создателю, что все оно так обернулось. Я-то, грешным делом, всегда боялась, что Натан продаст землю вместе с домом, и тогда наш сыночек, воротившись из Американии, не будет знать, где нас искать. Уверена, он отправился туда, чтобы сколотить состояние. Крепись девочка, в один прекрасный день он еще вернется и остепенится. Эх, до чего же славно сказано в Писании про блудного сына, который сперва ел со свиньями, а потом зажил припеваючи в отцовском доме. Кто-кто, а уж я-то знаю, что наш Натан охотно простит его, и снова полюбит, и будет души в нем не чаять, быть может, даже сильнее меня, хотя я ни на минуту не верила, будто Бенджамин умер. То-то Натан убедится, кто из нас был прав.

И вот фермер Киркби забрал большую часть земли Наб-энда, а три пары умелых рук без особого труда справлялись с работой на оставшемся пастбище и уходом за двумя коровами. Изредка кто-нибудь из соседей подсоблял им. Все члены семьи Киркби были приятными людьми и с ними было легко иметь дело. Был там сын, Джон Киркби, сухой, степенный холостяк, усердный и методичный в работе и немногословный. Однако Натан почему-то вбил себе в голову, будто бы он заглядывается на Бесси.

Эта мысль крайне встревожила старика. В первый раз за все время его вере в смерть сына пришлось пройти испытание — и она его не прошла. К его собственному несказанному удивлению, оказалось, что вера эта не настолько крепка, чтобы он со спокойной душой увидел Бесси женой кого-либо, кроме того единственного, кому она была предназначена с детства. Но поскольку Джон Киркби отнюдь не спешил открывать свои намерения (если у него вообще таковые имелись) Бесси, то эта ревность за покойного сына охватывала Натана лишь изредка, время от времени.

Однако порою на склоне лет люди (особенно когда их снедает глубочайшее и безнадежное горе) становятся вздорными и раздражительными, пусть даже сами сознают это и пытаются с этим бороться. В иные дни Бесси куда как крепко влетало от дяди, но она так горячо его любила и столь сильно уважала, что ни разу не молвила ему резкого или нетерпеливого слова в ответ, хотя и могла иногда сорваться на ком-то постороннем. И она была вознаграждена тем, что свято верила в его искреннюю и сильную привязанность к ней и безграничную и нежнейшую любовь тети.

Тем не менее однажды — близился уже конец ноября — Бесси пришлось вынести от дяди гораздо больше обычного, причем без всякой видимой причины. Причина же настоящая заключалась в том, что одна из коров Киркби заболела и Джон Киркби весь день провозился на дворе фермы, а Бесси чем могла помогала ему, сварила на кухне специальное питье и потом часто грела его, чтобы давать больному животному в теплом виде. Когда бы в дело не был замешан Джон, никто не выразил бы большей заботы о больной скотинке, чем Натан — и потому, что у него от природы было доброе сердце, и потому, что он донельзя гордился репутацией знатока коровьих хворей. Но поскольку Джон весь день торчал на виду, а Бесси крутилась вокруг, Натан и пальцем о палец не ударил, утверждая, что «хворь-то пустячная, говорить не о чем, просто парни и девчата всегда легко теряют голову по пустякам», Надо сказать, что Джону было уж под сорок, а Бесси — почти двадцать восемь, так что выражение «парни и девчата» не очень-то подходило к ним.

Когда Бесси около половины шестого принесла вечерний надой, Натан строго-настрого велел ей сидеть дома и не соваться в темь и на мороз ради каких-то чужих глупостей. Хотя слова эти слегка удивили и крайне раздосадовали девушку, но тем не менее она безропотно села ужинать. Натан издавна завел привычку выходить перед сном глянуть «какая погодка будет назавтра» — и когда в полдевятого он взял палку, вышел во двор и отошел на два-три шага от двери, ведшей на кухню, где они сидели, Хестер

положила руку на плечо племяннице и шепнула украдкой:

— Его нынче опять ревматизм одолел, вот он и бурчит на всех почем зря. Не хотелось спрашивать при нем — но как там бедная животинка?

— Ох, совсем худо. Джон Киркби как раз отправился за коровьим доктором. Боюсь, придется им сидеть с ней всю ночь.

Со времени постигшей маленькую семью утраты дядя Натан завел привычку читать вслух на сон грядущий какую-нибудь главу из Библии. Чтение давалось ему нелегко, и частенько, мучительно застряв на каком-нибудь особенно заковыристом словце, он под конец произносил его совсем не так. Но сам процесс открывания священной книги, казалось, лил бальзам на души старых измученных родителей, ибо тогда они ощущали тишину и благодать близости Господа и хоть на время уносились из этого полного тревог и забот мира в мир грядущего, хоть и неясного, но сулившего им блаженный покой. Эти спокойные полчаса — Натан, нацепивший громоздкие очки в роговой оправе; свеча, горящая между ним и Библией и освещающая его серьезное и исполненное почтения лицо; Хестер, что примостилась по другую сторону очага, склонив голову в благоговейном внимании и время от времени покачивая ею и горестно вздыхая, но с трепетом произнося «Аминь!» каждый раз, когда звучат слова надежды или известие о радостном событии; рядом с тетушкой — Бесси, чьи мысли, по всей вероятности, рассеянно блуждают вокруг каких-нибудь мелких домашних хлопот или уносятся к тому, кто сейчас далеко — эти спокойные полчаса, говорю я, действовали на маленькую семью умиротворяюще и успокаивающе, точно колыбельная на усталого ребенка. Но в этот вечер Бесси, сидевшая напротив длинного низкого окна, лишь слегка затененного несколькими геранями на подоконнике, и двери возле этого самого окна — той, через которую ее дядюшка выходил погулять не более четверти часа тому назад, — заметила, как деревянная задвижка на двери тихонько и почти беззвучно приподнялась, точно кто-то пробовал открыть ее снаружи.

Девушка удивилась и внимательней пригляделась к двери, но теперь задвижка лежала неподвижно. Сперва Бесси подумала, что, быть может, возвратившись с прогулки и запирая дверь, дядя небрежно закрыл замок. Ей стало чуточку неуютно — но не более того, и она сумела убедить себя, что все это ей лишь померещилось. Но все же, прежде чем перед сном подняться наверх, она подошла к окну и выглянула во тьму, но все было тихо — ничего не видно, ничего не слышно. И вот все трое разошлись на покой.

Дом Хантройдов был немногим лучше коттеджа. Парадная дверь

открывалась прямо в столовую, над которой располагалась спальня стариков. Когда же вы входили в эту уютную столовую, то слева от вас, почти под прямым углом ко входу находилась дверь в крохотную гостиную, составлявшую особую гордость Хестер и Бесси, хотя она не была и вполовину столь уютной, как столовая, и ни разу не использовалась по назначению. Там на каминной полке красовались пучки засушенных цветов, напротив стоял наилучший буфет с фарфоровым сервизом кричащей расцветки, а на полу лежал яркий безвкусный ковер — но все было бессильно придать комнате атмосферу домашнего уюта и филигранной чистоты, что царила в столовой. Над этой гостиной находилась комната, где в детстве жил Бенджамин, когда приезжал домой. И до сих пор в этой спаленке все было готово к его возвращению. В кровати никто не спал вот уже восемь-десять лет, но все равно время от времени старушка-мать украдкой приносила туда грелку и хорошенько просушивала и проветривала постель. Однако ж делала она это лишь в отсутствие мужа и никому не рассказывала, а Бесси даже и не предлагала ей помочь, хотя глаза девушки наполнялись слезами каждый раз, когда она видела, как ее тетя исполняет эту бесцельную работу. Но помаленьку комната стала вместилищем всякого ненужного домашнего хлама, а один угол неизменно отводился под запас зимних яблок. Если встать лицом к камину, то слева от столовой, напротив окна и выхода во двор, имелись еще две двери: правая открывалась на кухню, потолок в ней был наклонный, и оттуда шел выход во двор и к сараям. Левая же дверь вела на лестницу, под которой располагался чулан, где хранились всевозможные домашние сокровища, а за ним — сыродельня, комнатка над которой служила спальней Бесси. Окно этой маленькой спаленки выходило как раз на наклонную крышу кухни. Ни на одном окне, будь то первый или второй этаж, не было ни ставен, ни решеток. Дом был сложен из камня, и из того же материала были сделаны оконные рамы, а длинное низкое окно столовой в иных, более помпезных домах, называлось бы «готическим».

В тот вечер, о котором я веду речь, все разошлись по спальням уже к девяти часам — а обычно расходились еще раньше, поскольку жечь свечи понапрасну считалось такой расточительностью, что семья Натана вставала и ложилась рано даже по деревенским меркам. Но почему-то в этот вечер Бесси долго не удавалось уснуть, хотя обычно она засыпала мертвым сном не позднее, чем через пять минут после того, как голова ее коснулась подушки. Сегодня же в голову ей лезли всякие мысли о больной корове Джона Киркби, и она слегка беспокоилась, как бы болезнь не оказалась заразной и не перекинулась бы на их коров. Но, заглушая раздумья о

домашних хлопотах, пробивались яркие и весьма неприятные воспоминания о том, как дверная задвижка двигалась без всяких видимых причин. Если внизу девушка еще думала, что все ей только примерещилось, то теперь почти не сомневалась, что глаза не обманули ее, и все это было на самом деле. Она жалела, что все это произошло как раз во время дядиного чтения, так что нельзя было подбежать к двери и проверить, в чем там дело. На ум ей пришли неуютные мысли о всяких сверхъестественных ужасах, а потом она вдруг вспомнила о Бенджамине, ее милом кузене, спутнике детских игр, ее первой любви. Бесси уже давно привыкла думать, что если он и не умер, то все равно потерян для нее навсегда, но именно благодаря этому добровольно и полностью простила ему все былые обиды. Теперь она думала о нем с нежностью, как о том, кто во взрослые годы сбился с пути, но остался в ее воспоминаниях невинным ребенком, одаренным юношей, лихим юным щеголем. Когда бы тихая привязанность Джона Киркби случайно выдала бы его намерения по отношению к Бесси — если, конечно, у него имелись на ее счет какие-либо намерения — то первым ее побуждением было бы сравнить это обветренное, утратившее свежесть молодости лицо, эту неуклюжую фигуру с лицом и фигурой, которые Бесси хорошо помнила, но не надеялась больше увидеть в этой жизни. От всех этих мыслей ей сделалось беспокойно и ужасно надоело лежать в постели, и она долго металась по постели, ворочалась с боку на бок и думала, что никогда уже не уснет, как вдруг заснула.

Она проснулась так же внезапно, как и заснула, и привскочила на постели, прислушиваясь к шуму, который разбудил ее, но теперь на время затих. Звук этот явно доносился из комнаты ее дяди — тот встал, но потом снова наступила тишина. Затем Бесси услыхала, как он открывает дверь и спускается по лестнице тяжелыми, спотыкающимися шагами. Решив, что ее тетя заболела, девушка спрыгнула с кровати и, трясущимися руками поспешно натянув юбку, подбежала к двери и уже собиралась выйти, как вдруг раздался скрип отворяемой наружной двери, какой-то шорох, словно в дом входило несколько человек и поток грубых, резких и шипящих ругательств. В мгновение ока Бесси все поняла — дом стоял на отшибе… дядя пользовался репутацией человека зажиточного… разбойники, должно быть, прикинулись заблудившимися путниками и попросили указать им дорогу или что-нибудь еще. Какое счастье, что корова Джона Киркби заболела и теперь возле нее сидело несколько крепких мужчин. Метнувшись назад, девушка отворила окно, выскользнула в него, спустилась по наклонной крыше и, босиком, задыхаясь, помчалась к

коровнику.

— Джон, Джон, ради Бога, скорее. В доме грабители, они убьют дядю и тетю! — лихорадочно зашептала она сквозь запертую дверь. Через миг та отворилась и на пороге появились Джон и коровий лекарь, готовые действовать, если окажется, что они правильно ее поняли. Бесси снова повторила свои слова, сопровождая их сбивчивыми и невнятными объяснениями того, что сама еще не до конца понимала.

— Так ты говоришь, парадная дверь открыта? — переспросил Джон, вооружаясь вилами, тогда как ветеринар ухватил еще какой-то огородный инструмент. — Тогда, пожалуй, нам надо через нее и войти, чтобы поймать их в западню.

— Скорее, скорее! — только и могла лепетать Бесси, дергая Джона за руку и волоча его за собой. Все трое быстро добрались до дома и, завернув за угол, скользнули в открытую переднюю дверь. Мужчины принесли с собой из коровника фонарь, и вот в его резком, тревожном свете Бесси узрела того, о ком волновалась сильнее всего — дядю, недвижного и окоченелого, распростертого на полу кухни. Первая ее мысль была лишь о нем, поскольку девушка не осознавала, что и тете ее грозит непосредственная опасность, хотя и слышала сверху топот и приглушенные свирепые голоса.

— Запри-ка за нами дверь, девочка. Не дадим им удрать, — промолвил храбрый Джон без тени страха, хотя и не знал, сколько разбойников может оказаться наверху.

— Отлично! — угрожающе воскликнул ветеринар, заперев дверь и спрятав ключ в карман. Предстояла схватка не на жизнь, а на смерть — или, по меньшей мере, отчаянная борьба. Бесси упала на колени возле дяди. Тот не двигался и не проявлял никаких признаков сознания. Девушка приподняла ему голову и подсунула под нее подушку, которую стащила со стула. Она горела желанием сбегать в чулан за кухней и принести воды, но сверху раздавались столь ужасные звуки свирепой борьбы: тяжелые удары, тихие сдавленные проклятия и возгласы, хоть и яростные, но неясные и неразборчивые, словно их цедили сквозь стиснутые зубы, чтобы сберечь дыхание для драки, а не тратить на пустые разговоры, — что она замерла рядом с телом дяди в кромешной тьме, такой густой, что казалась почти осязаемой. В какой-то миг — краткий миг между двумя биениями ее сердца — она поняла вдруг каким-то непостижимым образом, каким всегда присутствие живого существа дает знать о себе даже в самой темной комнате, что рядом затаился кто-то чужой. Сознание этого наполнило Бесси невыразимым ужасом. Нет, не еле слышное дыхание старика различила

она, не его близость ощутила — нет, в кухне прятался кто-то еще, скорее всего, кто-то из грабителей, оставленный сторожить старого фермера с тем, чтобы убить его, если тот придет в чувство. Бесси отчетливо поняла, что инстинкт самосохранения не позволял ему, невидимому свидетелю, обнаружить свое присутствие иначе, чем ради попытки к бегству, а покамест любая такая попытка была бы невозможна из-за запертой двери. Однако само сознание, что он притаился где-то рядом — невидимый, немой, как могила, вынашивая в сердце ужасные, а быть может, и смертоносные замыслы, и что, весьма вероятно, зрение у него лучше, чем у нее, и глаза его больше привыкли к темноте, так что ему не составит труда различить во тьме фигуру склонившейся над стариком девушки, и что, быть может, он и сейчас глядит на нее, точно дикий зверь, заставило Бесси вздрогнуть, с такой живостью девушка нарисовала себе эту зловещую картину. Наверху тем временем все продолжалась борьба, стучали башмаки, раздавались удары, вскрики, когда удар попадал в цель, и в краткие мгновения затишья слышно было, как противники жадно хватают ртом воздух. В одно из таких затиший Бесси почувствовала совсем рядом с собой какое-то тихое движение, замиравшее, когда шум схватки наверху затихал, и мгновенно возобновляющееся, когда драка начиналась снова. Чужак двигался совершенно беззвучно и обошел девушку, не задев ее, но еле заметное дуновение воздуха выдало его. Бесси поняла, что вор, всего минуту назад находившийся рядом с ней, медленно пробирается к внутренней двери, ведущей на лестницу. Решив, что он спешит на подмогу своим товарищам, она с громким криком кинулась вслед за ним. Но как раз в тот миг, как девушка подбежала к двери, из-за которой чуть пробивался слабый свет с верхнего этажа, по ступенькам вниз слетел какой-то человек и упал почти у самых ее ног. Темная же крадущаяся фигурка, метнувшись влево, проскользнула в чулан под лестницей. У Бесси не было времени гадать, зачем бандит залез туда и собирался ли он вообще присоединяться к своим товарищам в их отчаянной драке. Она знала лишь одно — что он грабитель, он враг, — и, рванувшись к двери чулана, девушка в мгновение ока заперла ее снаружи и замерла в темном углу, задыхаясь и умирая со страха. Кто свалился с лестницы? А вдруг это Джон Киркби или ветеринар? Что тогда станет с остальными — с дядей, тетей, с ней самой? Но спустя буквально несколько минут страхам этим пришел конец — оба ее защитника спустились вниз, медленно и тяжело ступая по лестнице и волоча за собой последнего грабителя, на вид совершенно ужасного, мрачного, из тех, кому сам черт не брат. Лицо его, изуродованное ударами, превратилось в одно кровавое месиво. Уж если на то пошло, то и Джон с

коровьим лекарем тоже были не в лучшем виде. Один из них нес в зубах фонарь, потому что руки нужны были им для того, чтобы тащить тяжелого пленника.

— Осторожней, — предупредила Бесси из своего уголка. — Тот, второй, валяется прямо у вас под ногами. Уж и не знаю, жив он или мертв, а дядя лежит на полу сзади.

Джон и ветеринар остановились перевести дух на лестнице. Сброшенный вниз грабитель слабо пошевелился и застонал.

— Бесси, — велел Джон, — беги-ка в конюшню и притащи веревки и упряжь, чтобы связать этих мошенников. А тогда мы сможем убрать их из дома и ты займешься своими стариками. Боюсь, им это куда как необходимо.

Бесси мигом сбегала за веревками. Когда она вернулась, то в столовой стало уже чуть светлее, поскольку кто-то успел раздуть угли в камине.

— Похоже, этот молодчик сломал ногу, — заявил Джон, кивая в сторону второго грабителя, все еще лежавшего на полу. Бесси почти даже пожалела злополучного вора, так безжалостно обращались с ним победители. Хотя он был в полубеспамятстве, но связали его так же крепко и сильно, как и его свирепого и злобного товарища. Видя, как бедняга страдает, когда грубые руки вертят его то так, то этак, чтобы было удобнее вязать узлы, Бесси даже принесла с кухни воды и смочила ему губы.

— Страсть как неохота мне оставлять тебя с ним одного, — сказал Джон, — хотя сдается мне, нога у него и впрямь сломана, так что коли он даже и придет в себя, не сможет причинить тебе никакого вреда. А вот этого мерзавца мы сейчас уведем, а потом кто-нибудь вернется к тебе и, глядишь, мы сумеем найти что-то навроде старой двери или еще чего, чтобы соорудить носилки и уволочь второго тоже. А с этим, кажись, все в порядке, — добавил он, покосившись на грабителя, который стоял весь окровавленный и измазанный грязью, со смертельной ненавистью на лице. Когда Бесси украдкой взглянула на него, он перехватил ее взгляд и, видя ее нескрываемый страх, дерзко ухмыльнулся. Эта ухмылка удержала слова, готовые уже сорваться с губ Бесси. Она не смела при нем сказать, что в доме остается еще один разбойник, живой и невредимый. Девушка до смерти боялась, что тогда тот выломает дверь и драка начнется с новой силой. Поэтому она всего-то сказала Джону в дверях:

— Только не задерживайся. Мне страшно оставаться с этим человеком.

— Он ничего тебе не сделает, — заверил Джон.

— Да нет же! Я боюсь, как бы он не умер. А еще ведь дядя и тетя. Возвращайся скорее, Джон!

— Ладно-ладно, — сказал тот, почти польщенный. — Не вешай нос, я скоро вернусь.

Они вышли. Бесси затворила дверь но не заперла ее, чтобы не отрезать себе пути к бегству, и снова пошла к дяде. Он дышал уже чуть ровнее, чем когда она в первый раз вбежала в столовую вместе с Джоном и ветеринаром. При свете камина она разглядела, что забытье его, должно быть, вызвано глубокой раной на голове, причем рана эта до сих пор кровоточила. Девушка наложила на нее тряпку, смоченную холодной водой, а потом, на время оставив старика, зажгла свечу и собралась было подняться к тете, как вдруг, проходя мимо связанного и уже не опасного грабителя, услышала, как кто-то тихо и настойчиво окликает ее по имени.

— Бесси, Бесси!

Голос этот прозвучал так близко, что сперва девушке показалось, будто ее зовет тот несчастный у ее ног. Но секунду спустя голос зазвучал вновь, и девушка похолодела от страха.

— Бесси, Бесси! Ради Бога, выпусти меня!

Не помня себя, она подкралась к двери чулана и попыталась заговорить, но не смогла, так сильно колотилось ее сердце. А голос уже звучал снова, над самым ее ухом:

— Бесси, Бесси! Они скоро вернутся, умоляю, выпусти меня! Ради Бога, выпусти!

И пленник начал бешено ломиться в дверь.

— Тише, тише, — зашептала Бесси, полумертвая от ужаса, но твердо решив выяснить все до конца. — Кто ты? Но она уже знала — слишком хорошо знала.

— Бенджамин, — (грязное ругательство). — Говорю тебе, выпусти меня, и я уйду. Завтра же уеду из Англии и никогда больше не вернусь, и все деньги моего отца достанутся тебе одной.

— Ты что, думаешь, я о деньгах забочусь? — яростно проговорила Бесси, дрожащими руками отодвигая задвижку. — Да по мне лучше, если бы такой вещи, как деньги, и на свете вообще не было, лишь бы ты не докатился до этакого злодейства. Ну вот, ты свободен, и посмей только еще раз показаться мне на глаза. Ни за что бы тебя не освободила, когда бы не боялась разбить сердца твоим несчастным родителям, если только ты их и без того не убил.

Но не успела она докончить свою речь, как Бенджамин уже был таков — скрылся во тьме, оставив переднюю дверь нараспашку. Бесси окатила новая волна дикого страха, и девушка поспешила закрыть дверь, на сей раз накрепко заперев ее, а потом упала на стул и излила душу горькими и

отчаянными рыданиями. Однако она знала, что не время опускать руки, и заставила себя подняться, хотя это далось ей с таким трудом, словно и руки, и ноги ее внезапно налились свинцом. Вернувшись в кухню, она выпила холодной воды и вдруг, к своему удивлению, услышала невнятный лепет дяди:

— Отнеси меня наверх и уложи рядом с ней.

Но у Бесси, разумеется, не хватало сил отнести его, она могла лишь кое-как помочь ему подняться по лестнице. Старик был так слаб, что на это у них ушло много сил и времени, и когда он наконец оказался в спальне и сидел в кресле, едва переводя дух, как раз вернулись Джон Киркби и Агкинсон. Джон поднялся наверх помочь Бесси. Глазам его открылось поистине плачевное зрелище. Миссис Хантройд лежала поперек кровати без чувств, ее муж сидел, ни жив, ни мертв, а Бесси в отчаянии ломала руки, страшась, как бы оба они не умерли сию же минуту. Но Джон приободрил перепуганную девушку и уложил старика в постель, а потом, пока Бесси пыталась поудобнее устроить несчастную Хестер, спустился вниз и отыскал запасец джина, что всегда хранился в буфете на случай какой необходимости.

— Они перенесли ужасное потрясение, — покачивая головой, сказал он, по очереди вливая в горло каждому из стариков по ложке джина с горячей водой, покуда Бесси растирала их окоченевшие ноги. — Да еще и промерзли, бедняги. Да, им крепко досталось!

И он с состраданием поглядел на них, а Бесси, неожиданно для себя самой, вдруг всем сердцем благословила его — благословила за этот взгляд.

— Ну, мне пора. Я послал Аткинсона на ферму кликнуть на помощь Боба, а с ним пришел и Джек, чтоб уж получше приглядеть за вторым негодяем. Тот начал честить нас почем зря, так что когда я уходил, Боб с Джеком заткнули ему рот уздечкой.

— Не обращайте внимание на то, что он говорит, — вскричала бедняжка Бесси в новом приступе паники. — Такие, как он, всегда винят во всех своих бедах весь белый свет. Да-да, заткните ему рот, и покрепче.

— Вот и я то же самое говорю. А этот, кажись, совсем затих. Мы с Аткинсоном перетащим его туда же, в коровник. Придется бедным коровкам потесниться. А я поскорей оседлаю старую гнедую кобылку и поскачу в Хайминстер за констеблем и доктором. Привезу доктора Престона. Пусть сперва осмотрит Натана и Хестер, а потом глянет и на того, со сломанной ногой, раз уж ему так не повезло на его скользкой дорожке.

— Да! — горячо согласилась Бесси. — Надо поскорее показать их доктору. Погляди только, как они лежат! Точно каменные святые в церкви — такие же печальные и важные.

— А мне вот сдается, после джина с водой лица у них стали малость поосмысленней. На твоем месте, Бесси, я бы не снимал примочку у него с головы и время от времени давал бы обоим по капельке чего-нибудь горячего.

Бесси проводила Джона вниз и посветила им с ветеринаром, пока они уходили, унося с собой раненого грабителя. Однако светить во дворе она уже побоялась — так силен был в ней страх, что Бенджамин все еще рыщет вокруг, стремясь снова проникнуть в дом. Стремглав вбежав на кухню, она заперла дверь, задвинула засов и приволокла к нему буфет, зажмуриваясь всякий раз, как проходила мимо незанавешенного окна из боязни увидеть бледное лицо, прижавшееся к стеклу и глядящее на нее. Злополучные старики лежали недвижно и безгласно, хотя Хестер чуть изменила позу и, придвинувшись к мужу, обвила его шею дрожащей иссохшей рукой. Но старый Хантройд лежал точно в той же позе, в какой Бесси оставила его, с мокрой тряпкой на лбу. Глаза его не блуждали по комнате с хоть каким-то осмысленным выражением, а важно взирали ввысь, равнодушные ко всему, что происходило вокруг, точно глаза мертвеца.

Жена его время от времени заговаривала с Бесси, слабо благодаря ее, но он не проронил ни слова. Весь остаток этой жуткой ночи Бесси ухаживала за несчастными стариками с неизменной заботой и преданностью, но собственное ее сердце так занемело и кровоточило, что девушка выполняла свой печальный долг, словно во сне. Ноябрьское утро разгоралось медленно, а Бесси все никак не могла понять, произошла ли хоть какая-то перемена к лучшему или же худшему, пока около восьми часов не появился доктор. Его привел Джон Киркби, весь распираемый гордостью из-за поимки двух грабителей.

Насколько удалось выяснить Бесси, участие в ночном налете некоего Третьего так и осталось в тайне. Лишь испытав огромное, почти болезненное облегчение, девушка поняла, до чего же боялась разоблачения Бенджамина — боялась так, что страх этот преследовал и изводил ее всю ночь напролет, почти полностью парализовав способность рассуждать здраво. Теперь же эта способность вернулась к ней с какой-то даже лихорадочной и живой остротой, коя, без сомнения, отчасти являлась следствием бессонной ночи. Бесси была почти уверена, что ее дядя (а возможно, и тетя) узнали Бенджамина — но оставалась еще слабая возможность, что этого не произошло, и поэтому даже упряжкой диких

лошадей нельзя было бы вытянуть из девушки ее тайну или хоть единое неосторожное словцо о том, что в грабеже участвовал еще и третий взломщик. Что до Натана Хантройда, то он вообще постоянно молчал. Но молчание тети тревожило Бесси даже еще больше, заставляя бояться, что несчастная мать откуда-то знает, что в преступлении замешан ее сын.

Доктор внимательно осмотрел обоих стариков, с особым тщанием исследовав рану на голове Натана, и задал несколько вопросов, на которые Хестер отвечала коротко и неохотно, а Натан не отвечал вообще, закрыв глаза, словно ему невыносимо было видеть чужое лицо. Бесси, как могла, сама ответила за них и, с бешено бьющимся сердцем, спустилась вслед за доктором вниз. В столовой они обнаружили, что Джон даром времени не терял. Он открыл дверь, чтобы проветрить комнату, вычистил очаг, затопил его и поставил на место разбросанные и опрокинутые стулья и стол. Заметив, что взгляд Бесси остановился на его избитом, опухшем лице, он слегка покраснел, но попытался отшутиться.

— Видишь ли, я старый холостяк, так что чуть краснее, чуть бледнее, какая разница. Так что скажете, доктор?

— Ну, бедные старички пережили ужасное потрясение. Я пришлю им кой-какие успокоительные, чтобы унять пульс, и снадобье для головы мистера Хантройда. Пожалуй, даже хорошо, что он потерял столько крови, а не то не миновать бы воспаления.

И врач продолжал давать указания и наставления по уходу за больными, из каковых наставлений Бесси вывела, что старики отнюдь не были так близки к смерти, как боялась она всю эту страшную ночь. Признаться, девушка даже едва ли не пожалела об этом — ей почти хотелось бы, чтобы и они, и она сама обрели бы наконец вечный покой — такой жестокой казалась ей жизнь, столь страшили ее воспоминания о приглушенном голосе притаившегося в чулане грабителя.

Тем временем Джон с почти что женской ловкостью приготовил завтрак. Бесси так не терпелось поскорее выпроводить доктора и остаться наедине со своими мыслями, что она едва ли не обиделась на Джона за то, что тот настоял, чтобы доктор присел и выпил чашечку чая. Она не знала, что сделано это было не из церемонности, а лишь из любви к ней, и что неуклюжий, немногословный Джон все это время думал о том, какой у нее усталый и несчастный вид, и что его предупредительность к доктору Престону была лишь заботливой уловкой, предназначенной, дабы чувство гостеприимности заставило Бесси позавтракать вместе с гостем.

— Я пригляжу за коровами, — пообещал он, — и вашими, и своими, а Аткинсон позаботится о той, больной. Вот удача-то, что она заболела в эту

самую ночь! Когда бы мы не подоспели, эти два бандита расправились бы с вами, не моргнув и глазом, да они нам — и то синяков наставили. Впрочем, и мы в долгу не остались — одному из них будет памятка об этой ночи до конца его дней, верно, доктор?

— Едва ли у него срастется нога до той поры, как ему придется стоять перед судом на Йоркской сессии — она ведь уже через две недели.

— Ох да, Бесси, это мне напомнило: тебе придется выступать в свидетелях перед судьей Ройдсом. Констебль велел мне сказать тебе об этом и передать повестку. Не бойся — это дело нехитрое, хотя и не из приятных. Будут спрашивать, как все было и всякое такое. Джейн, — (сестра Джона), — придет и посидит тем временем с твоими стариками, а я отвезу тебя на нашей колымаге.

Никто не знал, почему Бесси внезапно так побледнела, а глаза ее затуманились. Никто и не ведал, как боялась она, что ей придется рассказать, что в шайку входил Бенджамин — если только блюстители закона сами уже не напали на его след и не схватили его.

Но это испытание миновало ее. Джон предупредил, чтобы она только отвечала на вопросы и не болтала лишнего, чтобы не запутать рассказ. А что до судьи Ройдса и его клерка, то они, по доброте душевной, постарались сделать расследование как можно менее официальным.

Когда все закончилось, Джон отвез ее домой, твердя по дороге, как славно все обошлось: суду хватило доказательств, чтобы осудить разбойников, не вызывая в суд для опознания еще Натана и Хестер. Бесси же до того устала, что не сразу и поняла, какая же это удача на самом деле — несравненно большая, нежели полагал ее спутник.

Джейн Киркби оставалась в Наб-энде еще с неделю или чуть больше, и ее общество приносило Бесси невыразимое облегчение. Девушка порой думала, что иначе просто сошла бы с ума, постоянно глядя на неподвижное лицо дяди и вспоминая, как лицо это застыло в мучительной агонии в ту жуткую ночь. Скорбь ее тети, как то и соответствовало преданной и мягкой натуре, выражалась тише, но мучительно было видеть, как сердце несчастной женщины истекает кровью. Силы возвращались к ней быстрее, чем к мужу; однако доктор обнаружил, что бедняжка слепнет день ото дня и скоро ослепнет совсем. Ежедневно, нет, даже ежечасно, когда Бесси осмеливалась, не вызывая подозрений, заговорить на самую волнующую тему, она твердила то же, что позаботилась сказать с самого начала, а именно: что в деле участвовали только два взломщика, да и те чужие в этих краях. Старый Натан никогда не задавал племяннице ни единого вопроса — как не задал бы даже и в том случае, если бы сама она не заводила речь на

эту тему — но всякий раз, когда девушка возвращалась откуда-нибудь, где могла бы услышать о подозрениях в адрес Бенджамина или о его поимке, она ловила на себе быстрые, настороженные, выжидающие взгляды старика и тут же спешила рассеять его тревогу, пересказывая все дошедшие до нее слухи. Шли дни, и Бесси все более преисполнялась благодарности Создателю, что опасность, при одной мысли о которой ей делалось совсем худо, становится все меньше и меньше.

Но наряду с тем день ото дня Бесси все крепче убеждалась, что тетя ее знает куда больше, нежели могло показаться поначалу. Было что-то столь застенчивое и трогательное в слепой заботе Хестер о муже — суровом, сломленном горем Натане — и ее безмолвных стараниях утешить его, унять его глубочайшую муку, что по этой заботе Бесси понимала, что тетя ее догадывается о многом. Невидящими глазами Хестер заглядывала в окаменевшее лицо мужа, по щекам ее катились медленные слезы, а время от времени, когда старушка думала, будто никто, кроме мужа, не видит и не слышит ее, она бормотала священные тексты, которые слышала в церкви в более счастливые дни и которые, как полагала она в своей безыскуственной и искренней простоте, могут еще даровать ему облегчение. Однако с каждым днем миссис Хантройд становилась все грустнее и грустнее.

За три-четыре дня до начала выездной сессии из Йорка нежданно-негаданно пришли повестки, призывающие старых супругов предстать перед судом. Ни Бесси, ни Джон, ни Джейн не могли понять, в чем тут дело, ибо самим им повестки пришли гораздо раньше и они были уверены, что их показаний более чем хватит, чтобы осудить разбойников.

Но увы! Разгадка была проста и ужасна. Адвокат, нанятый защищать заключенных, услышал от них, что в разбое участвовал и третий сообщник, и услышал также, кем он был. И поскольку задача адвоката состояла в том, чтобы по мере возможностей уменьшить вину своих клиентов, доказав, что они были всего лишь орудием в руках третьего, который, благодаря знаниям о привычках и распорядке дня потерпевших, и являлся зачинщиком и организатором всего плана в целом. А для того, чтобы доказать это, необходимо было заручиться показаниями родителей, которые, как утверждали арестованные, узнали голос молодого человека, их сына. Ведь никто не знал, что это могла засвидетельствовать еще и Бесси. А учитывая, что Бенджамин, по всеобщему мнению, давно уже покинул Англию, показания его сообщников, по сути дела, нельзя было считать таким уж гнусным предательством.

Изумленные, теряющиеся в догадках и усталые, достигли старики Йорка вечером накануне суда. Бесси и Джон сопровождали их. Натан по-

прежнему был настолько погружен в себя, что Бесси совершенно не могла понять, что происходило у него на душе. Он безучастно и безвольно отдавался попечениям дрожащей жены и, казалось, едва вообще замечал их.

Хестер же, как порою начинала бояться Бесси, потихоньку впадала в детство, ибо любовь к мужу настолько завладела всеми ее помыслами, что ее занимали лишь попытки хоть как-то растопить его холодность, расшевелить и развеселить его. Казалось даже, что в своих стараниях вернуть его к прежней бодрости, она порой забывала о причине, заставившей его столь жестоко перемениться.

— Судья ни за что не станет мучить их, стоит ему только увидеть, в каком они сейчас состоянии! — воскликнула Бесси утром в день суда. Девушку томили неясные опасения. — Никто не допустит такого бессердечия, вот уж точно!

Но, к сожалению, она «вот уж точно» ошибалась. Настал черед защиты, и на свидетельскую скамью был вызван Натан Хантройд. Увидев пред собой убеленного сединами и согбенного горем старца, барристер взглядом попросил у судьи прощения.

— Ради моих клиентов, милорд, я с глубочайшим прискорбием вынужден избрать способ ведения дела, к коему иначе ни за что не прибегнул бы.

— Продолжайте! — велел судья. — Закон и порядок должны восторжествовать.

Но, сам будучи уже в годах, он испуганно прикрыл рот рукой, когда Натан, с посеревшим, неподвижным лицом и скорбными, ввалившимися глазами, положил руки на край барьера и приготовился отвечать на вопросы, суть которых он начал уже прозревать, но тем не менее, не дрогнув, поклялся, что «сами камни» (как выразился он с присущей ему угрюмым чувством Высшей Справедливости) «восстанут против лжесвидетельства».

— Насколько мне известно, ваше имя — Натан Хантройд?

— Да.

— Вы живете в Наб-энде?

— Да.

— Помните ли вы ночь двенадцатого ноября?

— Да.

— Насколько мне известно, той ночью вас разбудил какой-то шум. Что это было?

Старик устремил на спрашивающего взгляд загнанного в ловушку

зверя. Никогда не забыть адвокату этот взор. Он будет преследовать его до самого смертного часа.

— Стук камешков в окно.

— Вы первым услышали его?

— Нет.

— Тогда что же вас разбудило?

— Моя старуха.

— И тогда вы оба услышали стук камешков. А еще что-нибудь вы слышали?

Долгая пауза. Затем тихо и отчетливо:

— Да.

— Что именно?

— Наш Бенджамин просил нас впустить его в дом. По крайней мере, она утверждала, будто бы это он.

— А сами вы тоже так считали?

— Я сказал ей, — (более громким голосом) — спать и не думать, будто каждый пьянчуга, который забредет к нам, это и есть наш Бенджамин, потому что он умер и пропал без вести.

— А она?

— Она сказала, что еще сквозь сон слышала, как наш Бенджамин умоляет впустить его. Но я велел ей не обращать внимание на глупые сны, а повернуться на другой бок и спать.

— И она послушалась?

Снова мучительная пауза. Судья, присяжные, подсудимые, публика в зале — все затаили дыхание. Наконец Натан произнес:

— Нет!

— Что было дальше? (Милорд, я вынужден задавать эти мучительные вопросы.)

— Я понял, что она не угомонится. Она ведь всегда верила, что он вернется к нам, точно блудный сын из Писания, — (голос старика стал чуть сдавленнее, но он отчаянным усилием сумел снова овладеть собой и продолжил): — Она сказала, если я не встану, она встанет сама, и тут как раз я услышал голос. Я не совсем уверен, джентльмены, я ведь был болен и лежал в кровати, и к тому же очень разволновался. Кто-то позвал: «Отец, матушка, я здесь, умираю от холода и голода — неужели вы не проснетесь и не впустите меня?»

— Что это был за голос?

— Он был очень похож на голос нашего Бенджамина. Я вижу, к чему вы клоните, сэр, и скажу вам правду, хоть она и убивает меня. Отметьте

там, я не утверждаю, будто это был наш Бенджамин, я только сказал, что голос был очень похож на его…

— Это все, что я хотел услышать, мой славный друг. И в силу этой мольбы, произнесенной голосом вашего сына, вы спустились вниз и отворили дверь этим двум подсудимым и третьему грабителю?

Натан лишь кивнул в знак согласия, и даже адвокат проявил довольно милосердия, чтобы не заставлять его отвечать вслух.

— Вызовите Хестер Хантройд.

На свидетельское место вышла старушка с мягким, приятным и опечаленным лицом и явственно слепыми глазами. Она смиренно сделала реверанс тем, кого привыкла сызмальства почитать, но кого видеть сейчас не могла.

Она стояла там, ожидая чего-то страшного, чего еще не мог представить себе ее бедный смятенный разум, и в ее робких, незрячих манерах было что-то, невыразимо растрогавшее всех, кто видел ее. Адвокат снова извинился, но судья уже не мог ничего ответить, губы его задрожали, а присяжные неодобрительно косились на адвоката подсудимых. Сей достойный джентльмен понял, что может зайти слишком уж далеко и склонить чашу симпатий на противную сторону, но все же обязан был задать несколько вопросов. Итак, торопливо пересказав все, что он узнал от Натана, он спросил:

— Вы уверены, что вас просил впустить именно голос вашего сына?

— О да! Наш Бенджамин вернулся домой, я уверена. И она чуть склонила голову, словно в замершей тишине зала суда прислушивалась к голосу сына.

— Именно. Той ночью он вернулся домой — и ваш муж спустился вниз открыть ему?

— Разумеется! Должно быть, так. Там, внизу, был ужасный шум.

— Вы различали в этом шуме голос вашего сына Бенджамина?

— А это не будет зачтено ему во вред, сэр? — спросила Хестер. Лицо ее стало более осмысленным и напряженным.

— Я задаю вам вопросы не для того, чтобы причинить ему зло. Я полагаю, что он покинул уже Англию, а значит, что вы ни скажете, ничто уже не сможет никак ему повредить. Повторяю — вы слышали голос вашего сына?

— Да, сэр. Несомненно слышала.

— А потом какие-то люди поднялись к вам в комнату. Что они сказали?

— Они спросили, где Натан держит свои сбережения.

— И вы… вы сказали им?

— Нет, сэр. Я знала, что Натан был бы против.

По лицу миссис Хантройд пронеслась тень замешательства, точно она только сейчас начала осознавать все значение этих вопросов и возможные их последствия.

— Я просто стала звать Бесси — это моя племянница, сэр.

— И вы услышали, как кто-то кричит снизу, с лестницы? Свидетельница жалобно поглядела на своего мучителя, но ничего не ответила.

— Господа присяжные, хочу обратить особенное ваше внимание на этот факт: свидетельница признает, что слышала чей-то крик — заметьте, крик третьего участника — двум, бывшим наверху. Что же он кричал? Это последний вопрос, которым я потревожу вас. Что сказал третий грабитель, остававшийся внизу?

Лицо Хестер исказилось, рот приоткрылся, точно она силилась заговорить, несчастная умоляюще протянула вперед руки, но ни слова не сорвалось с ее уст, и она рухнула на руки стоящим подле нее. Натан заставил себя вновь шагнуть на свидетельское место.

— Милорд судья, сдается, моя старушка утомила вас. Бесчеловечно и позорно подвергать мать такому испытанию. Это был мой сын, мой единственный сын — это он умолял нас открыть ему дверь, а потом, когда его мать позвала племянницу на помощь, крикнул, чтобы старуху придушили, если она не угомонится. Теперь вы знаете всю правду и да пусть же Господь Бог сам судит вас за то, каким образом вы добились этой правды.

В тот же день несчастную мать разбил паралич, и она оказалась при смерти. Но разбитое сердце вернулось домой, обрести утешение у Господа.

Призрак угловой комнаты

Весь вечер я наблюдал, как, чем ближе становится очередь мистера Гувернера — «его вахта», по собственному его выражению — тем беспокойнее становится он сам, и вот теперь он весьма удивил нас всех, поднявшись с самым серьезным выражением лица и попросив позволения прежде, чем рассказывать свою историю, пройти со мной «на корму» и там о чем-то поговорить наедине. Благодаря тому, что в нашем небольшом кружке он был очень популярен, таковое разрешение ему было милостиво даровано, и мы вместе вышли в холл.

— Послушайте, старый корабельный товарищ, — сказал мне мистер Гувернор, — стоило мне вступить на борт этой старой посудины, как у меня тотчас же начались видения.

— Видения чего, Джек?

Мистер Гувернор стиснул рукой мое плечо и произнес:

— Чего-то наподобие женщины.

— Ну да, старый ваш недуг. Ну, Джек, от него вам не избавиться, проживите хоть до ста лет.

— Не говорите так, потому что я куда как серьезен. Всю ночь напролет я видел пред собою одно и то же видение. А весь день напролет это же видение столь околдовывало меня на кухне, что просто диву даюсь, как это я не отравил всю команду. И учтите, все это вовсе не плод моего воображения. Хотите сами лицезреть это видение?

— Разумеется, сгораю от нетерпения.

— Тогда вот оно! — объявил Джек, указывая на мою сестру, которая украдкой выбралась из гостиной вслед за нами.

— В самом деле? — удивился я. — Ну тогда, милая Пэтти, думаю, нет смысла спрашивать тебя, не являлся ли и тебе какой-нибудь дух?

— Беспрестанно, Джо, — заверила она меня. Когда мы все втроем вернулись назад и я представил мою сестру как Призрака Угловой комнаты, а Джека как Призрака ее комнаты, эффект был поистине непревзойденным — в полном смысле слова, гвоздем вечера. Мистер Бивер, в особенности, пришел в неистовое ликование и то и дело повторял, что «еще чуть-чуть и он на радостях спляшет хорнпайп».[11] Мистер Гувернер не преминул тотчас же обеспечить это необходимое «чуть-чуть», предложив станцевать хорнпайп на пару — и тут мы получили уникальнейшую возможность наблюдать всевозможнейшие коленца, скачки, прыжки, проходки

вприсядку и прочие разнообразные выверты на непрерывно трясущихся ногах, каких никому из нас в жизни до сих пор не доводилось видеть и вряд ли доведется впредь. Мы смеялись до упада и били в ладоши как заведенные, покуда вконец не ослабели, а потом Старлинг, не желая никому уступать, почтил нас более современным танцевальным номером в ланкаширском стиле «пляски в сабо» — и, как я свято уверен, это был длиннейший танец на моей памяти, в котором стук его подошв становился то локомотивом, движущимся под сводами туннелей и по открытой местности, то еще кучей разнообразнейших вещей, о которых мы никогда бы не догадались, если бы сам он не объяснил нам, что это значит.

Тем вечером, прежде чем разойтись по комнатам, мы единодушно решили, что наше трехмесячное пребывание в Доме с Привидениями будет увенчано свадьбой моей сестры и мистера Гувернера. Белинду возвели в сан подружки невесты, а Старлинг был избран шафером.

Словом, мы все жили в этом доме как нельзя более счастливо, и ни на миг нас не потревожило ничто, кроме наших собственных фантазий или воспоминаний. Как вы уже, должно быть, догадались, жена моего кузена, преисполненная великой любви к мужу и нескончаемой благодарности за то, как преобразила ее эта любовь, поведала нам его устами свою собственную историю — и я уверен, что этот поступок заставил всех нас лишь еще сильнее любить и уважать ее.

И вот, наконец, не успел еще миновать самый короткий месяц в году, одним чудесным утром все мы отправились в церковь с таким видом, словно не происходило ровным счетом ничего необычного, и там Джек и моя сестра были повенчаны со всей разумностью, с какой только это могло быть устроено. Мне остается лишь отметить, что с тех пор Белинда и Альфред Старлиг сделались в высшей степени задумчивы и сентиментальны и поклялись обвенчаться в той же самой церкви. По моему разумению, это превосходнейшее решение для них обоих и союз их будет куда как полезен и здравомыслящ по нашим временам. Он хочет обрести чуточку поэзии, она ищет чуточку прозы — а сочетание этих двух элементов и составит счастливейший брак, какой я только могу пожелать для всего рода человеческого.

Итак, я описал эту Рождественскую Встречу в Доме с Привидениями и от всего сердца посвящаю всем моим читателям. Давайте же вспомним о величайшей добродетели, Вере, и да не злоупотребим мы ею, но дадим ей наилучшее применение, неколебимо веря в великую Рождественскую книгу

Нового Завета и друг в друга.

---

notes

1

Amico. Come sta? Addio! — Друг. Как дела? Пока! *(um.)*

2

Образцы верных влюбленных из средневековой литературы.

3

Мерчант-Тейлорз — одна из девяти старейших престижных мужских привилегированных средних школ Англии. Находится в Нортвуде, пригороде Лондона, основана в 1561 г.

4

Лондон-Бридж — вокзал в Лондоне.

5

«Марш негодяев» — какофония, которой сопровождается изгнание с позором из полка.

6

Багатель — одна из разновидностей бильярда.

7

Танбридж-Уэлс — фешенебельный курорт с минеральными источниками в графстве Кент.

8

Перевод с английского М. Виноградовой и С. Лихачевой.

9

Игра слов. Bissextile — по-английски значит «високосный».

10

Галловеи и шотгорны — две разные породы коров.

11

Хорнпайп — английский матросский танец.